

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

**ЛЮБОВЬ
ЖАННЫ
НЕЙ**

== Роман ==

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО О. Д. СТРОК
РИГА, 1925/26 г.

ИЛЪЯ ЭРЕНБУРГ

Любовь Жанны Ней



ИЗДАТЕЛЬСТВО О. Д. СТРОК
РИГА 1925/26

Аиц. Общ. Печатного Дѣла „Саламандра“, Рига, Б. Кузнечная ул. № 43. Тел. 20-76

Любовь Жанны Ней.

I.

Кастор и Поллукс.

Вторую неделю во всем доме не работало электричество. Вонючий светильник, плававший в блюдечке с льняным маслом, на котором мадам Нейхензон пекла оладьи-миланез, едва выдвигал из угла небритые, запавшие щеки Халыбьева и большую сковородку, покрытую засохшей пеной. Меланхолично поковыряв ее, Халыбьев вздохнул:

— Не могу больше! Курск... Когда придут, наконец, наши, от меня, пожалуй, одна борода останется, да и та под землей.

Шариком скатился круглый Нейхензон с ящика от реквизированной швейной машины, на котором, подрагивая, кое-как помещался, приоткрыл дверь, закрыл ее, снова открыл и снова прикрыл, наконец, несколько успокоившись, зацыкал:

— Управдел лито плюс одна из комъячейки собеза. Почему я буду говорить о каком-то Курске, когда я уже четыре раза там был, то-есть, не в Курске, а во «внутренней» — внутри? Вот я тебе «Известия» покажу. Где твой Курск, — спрашивается? Никакого Курска! А, между прочим, ты только послушай, «по постановлению В. Ч. К.», то-есть, это как раз там, где я был, «№ 1, Иван Ильич Обухов — офицер-белогвардеец, № 6 Моисей Лазаревич Шниц за злостную спекуляцию, № 19, Адольф Оскарович Блюм — за сношения с монархистами». А ты знаешь, сколько номеров? Ровно 84! Это тебе не Курск!

— Ну, меня, брат, не застращаешь! Не на такого напали. Ты лучше-ка почитай, какие с фронта новости?

— Фронт! Ну при чем тут фронт? Кого это интересует? Что ты, не дай Бог, призван, что ли? Новости? Вот тебе новости: «по купону 47 полфунта растительного масла, это раз. Три четверти кондитерских изделий, это два. Один рису, это три. В общем, конечно, не очень-то весело.

— Брось ты большевицкое вранье повторять. Я, брат, — Халыбьев! Я своих убеждений за фунт риса не меняю. Кстати, не найдется ли у тебя перекусить чего? Как выпустили — ничего не ел, хоть просись назад в Бутырки.

«Перекусить» — и это в Москве, в девятнадцатом году! Но Нейхензон приподнялся. Великое чувство дружба! Давно, в былые времена, острослов Степан Федорович Истомин, заехав как-то в Черкасский переулочек, где помещалась безвременно почившая контора «Халыбьев и Нейхензон», и увидав, как, шариком катясь, Нейхензон уговаривал некую, одержимую астмой, салопницу приобрести акцию никому, даже фабричному инспектору Грозного, неведомых грозненских приисков «Эверс», а Халыбьев, нервно теребя пальцы, где-то в басах аккомпанировал ему «самое выгодное и благородное дело, как дворянин, словом заверить могу, 28% годовых», — все это увидев, Иван Федорович окрестил двойню «Кастором и Поллуксом».

Острословье далеко не пустословье и, узнав, что одна из астматических салопниц, в связи с абсолютной призрачностью, как грозненских приисков, так и многого иного, опочила навеки, Степан Федорович дипломатично промолчал. Дело происходило в Охотничьем клубе, где Халыбьев, очевидно, поминая покойницу, во-тал мартелевский с тремя звездочками, а Нейхензон, во-все непьющий, умиленно на него поглядывал. Нейхензонъ быть нежен вообще: в передней того же клуба не швейцар (швейцары сами страдают рассеянностью), нет, сам Нейхензон наблюдал, чтобы руки Халыбьева — без особо мучительных судорог попадали бы в русла рукавов. Крючковатые, быстрые, как сказано было, нервные руки Халыбьева мало походили на десять закормленных пьявок Нейхензона, любивших до-нельзя присосаться к пестреньким, «закладным». Так было во всем, но эта несхожесть лишь повышала пафос редкого в наши дни чувства. Банкирская контора, вместо основного капитала, обладала хитроумием Нейхензона и решительностью Халыбьева. Правда, Нейхензон, как никто, умел придумывать, но сам он до пота придумываний своих боялся. Халыбьев ободрял его, хотя бы кончиками своих усов, голосом, дворянским званием, дружбой с полицмейстером, словом, различными атрибутами исконного москвича. Нейхензон? — ведь у Нейхензона даже право-жителства настоящего не было, один бы он и при-кнуть не посмел. Вместе же они положили начало знаменитой банковской конторе, за стеклянными перегородками которой, почти гениальные мозги Нейхензона, скрытые нафиксатуаренными кудряшками, нашли себе

соответствующее применение. Зачем завистники говорили о капитале? Капитала вовсе и не требовалось. Что салоппницы, когда раз жирный жох с Полянки и тот попался, вместо шаблонного «украшения храма», потрудившись для должного процветания конторы в Черкасском и год спустя опочив от сердечной болезни, зря перед смертью надуваясь лавро-вишневыми каплями.

Во время войны Нейхензон, все обмозговав, сказал: «леи». Что же — Румыния не выдала! В клубе Халыбьев причмокивал: «леи, а по случаю леи — лей!» (Халыбьев любил каламбурить).

Так все шло до октября. Далее благополучие сменила общеизвестная картина бедствий и запустения, а когда вместо золотых букв «Банкирская Контора» на зеркале двери появился листочек из ученической тетради с полуприличным словом «ясли», действительно приличным людям, к которым, разумеется, принадлежали и друзья, пришел конец. Правда, Нейхензон пробовал в антрактах между четырьмя отсидками скупать у дам «чижики», но делал это вяло, без вдохновенья, хуже того — без толку. Выручала кое-как жена, значительно менее впечатлительная, торговавшая совершенно секретно неразбавленным спиртом.

Халыбьев сидел много спокойней, прочно, даже не без уютца. Больше года просидел он, играя с курчавым анархистом в дурачки. Во время случайных допросов друзья показали, что расстаться еще не значит забыть. Халыбьев нервно (он все «нервно» делал), объявил: Нейхензон — румын, возможно даже румынский агент, иначе никак нельзя понять всю эту мистическую историю с леями. Нейхензон ограничился тем, что назвал Халыбьева сначала «мошенничком» (в этом «ч» сказалась вся его нежность), а потом уже по современному «феодалом». Впрочем, следовательно показания эти записать не потрудился, а как-то спохватившись: еще такие-то существуют, спешно очистил место для других.

Так они встретились. Так облобызались. Мудрено ли, что перед просьбой Кастора Поллукс не устоял? Из груды грязного белья выкопал он две французские булки. Казалось, этим ограничится празднество. Но, пренебрегая интимностью места, в ком сорочек и прочего быстро нырнула гоночная рука зоркого Халыбьева и выплыла оттуда торжествуя: бутылка спирта!

Халыбьев глотал за чашкой чашку. Нейхензон же осторожно щипал корочку булки. При этом он усиленно, в срочном порядке, думал. По насыщенности паузы Халыбьев угадывал, чем занят его друг, и поэтому он отнюдь не удивился, когда раздалось столь знакомое по конторе:

— Есть!

Он только вплотную придвинулся к философу. Светильник, издыхая, подпрыгивал и падал. В темноте раздавался шип Нейхензона. Если бы случайно приоткрыли дверь управдел, или та, что из ячейки, они наверное решили бы: заговор, конспирация. Пожалуй, они были бы правы: во всем облике двух людей, то кричающих, то шипящих над большой бутылкой было нечто зловещее, даже преступное.

— Ты там, я здесь, вместе — армянская загадка — «банкирская контора Халыбьева и Нейхензона».

— То-есть как это — «ты здесь?»

— Очень просто. В ячейке.

— Ты что же убеждения свои так быстро переменял?

— При чем тут убеждения? Кому нужны убеждения? «Быстро!» Хорошенькое «быстро!». А правительство? Ты думаешь, оно в десять лет переменялось? Ровно в десять минут! Я два года, идиот, потерял. Я там сидел, то-есть, внутри. Так ты думаешь, там плохо? То-есть, сидеть очень плохо. А если не сидеть, так даже очень хорошо. Например, ездить в автомобильчике и вежливо приговаривать: «ну-ка, господин Нейхензон, пожалуйста внутри!», это же совсем другое дело! Так вот, я останусь здесь. Но, конечно, может выйти и наоборот, то-есть, возьмет себе Деникин и придет. Так вот, мы и застрахуемся. У тебя убеждения и, вообще, ты сам из себя дворянин. Тебе весь расчет ехать. А потом...

Халыбьев расхохотался. В самом тембре его смеха была аттестация мадам Нейхензон: она честная женщина, у нее спирт — это спирт.

— Здорово! Каждый сам себе Гинденбург! Стратегия! Рулетку знаешь? Это, брат, не коммуна, это рок, игра! Так вот ты на красное, я на черное. Валяй! Вертись! Без проигрыша. Наша возьмет, всех... ты прости, что я выражаюсь, очень наболело вот здесь, словом, всех, что называется, жидов перебьем. А тебя? А тебя нет! Они визжать будут, а ты в «Ампире», кофе кушать. Контору снова откроем. Валюту купим. Заживем. А ихняя... чтож тогда уж тебе придется потрудиться. Ну, что? Идет? По рукам?

Халыбьев выпил еще чашку и совсем обалдел. Не замечая больше шипа Нейхензона, он уже во весь голос кричал:

— Не могу я так! Жизнь моя зря проходит! Зачем мне революция эта? В Париже теперь свет, рестораны, бабы финтят, а ты ко мне с кондитерскими изделиями лезешь. К чорту! Не такой я человек! Мне деньги нужны. Шампанское! Женщины! Ты понимаешь, что такое жев-

щины? Дорогие, чтобы с кружевцом! Я в Бутырках год, извини меня, вшей кормил! Я в душе игрок! Я ни перед чем не остановлюсь!

Светильник кончился. Зазвенела бутылка. С трудом Халыбьев приподнялся. Нейхензон нежно поддерживал его.

— Только тише, ради Бога тише. Управдел пришел.

— А мне что! Я на все готов. Ты не знаешь, Нейхензон, какой я человек! Я женщин хочу! Я два года в ресторане не был! Я своими руками убить могу!

— Что убить? То-есть, как это убить? Это же нельзя! Слышишь, Халыбьев, нельзя! Если тебе человек мешает, так ты сделай так, чтоб он сам повесился, чтоб записочку оставил, по закону. А убить?.. Это же страшно!

— Страшно, Нейхензон! Твоя правда. А я вот возьму и убью. Могу кобеля, а могу и человека. Сам я не знаю, что могу! Выйдет и убью. Я музыки хочу! Чтоб романсы мне пели! Я все могу!

И с этими словами, оглушенный окончательно спиртом, упал он на мягонькие колени идилического Поллукса.

2.

Бывает весна и зимой.

Жанна ушла далеко за Карантин. Крутом были только пологие, охровые холмы. Внизу море. Жанна радовалась: в этот по календарю зимний день, произошло нечто невероятное, крайне важное, не отмеченное в газетах, и никак не взволновавшее ее отца, столь пристально следившего за всеми мировыми событиями. Еще вчера вечером была зима, от которой у Жанны захватывало дух и выступали слезы. Весь вчерашний день она хандрила, мечтая об одном: враспи в расписные изразцы печки. А под утро подул теплый ветер с моря. Слуга Ней, курносый насмешник Ваня, раскрыл настежь все окна, как пес, понюхал воздух и засвистел снигирем. Несмотря на нужду, на все беды зимы в осажденном Крыму, жители Карантинной слободки, вытащив во дворцы жаровни, весело варили соленую камсу или горох, мурлыча при этом нечто очень приятное и всячески ворочаясь, чтобы ни один луч солнца не пропал даром. Даже море как-то наспех переделось: вместо бутылочного плаща провинциального трагика получилось голубенькое платьице девочки-пай. Жанна шла по мокрой глинистой дороге, рассеянно проваливаясь в лужи, и умиленная и озадаченная этой, не по времени, весной.

Еще Жанна радовалась, потому что папа сказал ей утром, развернув желтую куцую газету, «ну, теперь крышка, скоро и отсюда придется убегать». Значит скоро Париж. Там тоже тепло. Там всегда тепло. Там кончится этот дурной сон, который называется страной, «Россией». Затянувшийся сон: шесть лет он томит Жанну. Но и теперь она также боится его, как в то далекое февральское утро, когда тринадцатилетней девочкой, с букетом промерзших мимоз, поднесенных ей при расставании хохотушками подругами, вышла она на площадь перед Брестским вокзалом, увидела снег, тулупы

баб, городского в башлыке, кричавшего на дохлого извозчика, а, увидав это, расплакалась, несмотря на все увещевания папы, бормотавшего: «это ничего... это богатая, это очень богатая страна!»

Жанна боялась России. В ее представлении сливалось в одно: дикий климат, непогода а именно, климат, как в учебнике географии, неодолимые звуки «ща» или «ы», бараньи шкуры, кавалеры во время вальса отдававшие водкой, генерал на морозе пальцем в лайке вытирающий лиловый мокрый нос, блины, чай ведрами, то разнузданно икающие, то по-собачьи скулящие песни. До семнадцатого года еще удавалось спрятаться. Была розовая комнатка, где на секретере жил с Жанной томика Гюго, где в вазочке, наперекор окну, сидящему от дыхания России, розы из магазина Ноева, не хуже самого Гюго говорили о милой Франции; была столовая, где папа, полоща рот кирпичным бордосским, каждый вечер с ровным пафосом читал передовицы «Journal des Débats», бесконечно похожие одна на другую, были люди, знавшие на память Гюго и предпочитавшие Арбату Елисейские Поля. Потом? Потом произошло что-то странное, всеми различно называемое. Жанна воспринимала это по своему; ей казалось, что Россия как-то сразу разрослась, проглотила и розовую комнатку, и «Journal des Débats» и тех изящных молодых людей, которые присылали ей ноевские розы. Жанна ничего не понимала. Говорили: «революция», но Жанна в школе учила французскую историю, революция тогда казалась ей скорее увлекательной: восторженные речи, вдохновившие даже Гюго, песня марсельцев, празднества, героическая смерть какого-нибудь храброго знаменосца, идущего против коалиции. Но разве люди в варварских папах, приходившие в квартиру Ней, чтоб наследить, чтоб прокурить махоркой комнату Жанны, чтоб перерыть ее комод, или заглянуть в детский дневник, разве какие-то дежурства в подворотне дрожащих дам из домового комитета, разве карточки, с которыми надо было зябнуть в «хвостах», чтобы получить несколько кусочков сахара, разве все это походило на стихи Гюго или на картины в Лувре, изображавшие революцию?

Дружески улыбаясь солнцу, отмахивалась Жанна от воспоминаний последнего года, особенно тяжелого: бегство, ночь в крестьянской телеге под соломой, теплушка — шесть дней в теплушке, какие-то осетины, хотевшие убить папу из-за одного брелока на цепочке, толчея в Ростове, тифозные вповалку на перроне, снова бегство, баржа, тонущие люди, шторм, и, наконец, эти пустынные, угрюмые недели в Феодосии под рев пьяных казаков и северного ветра. Все это было. Но лучше

думать, что этого не было. Лучше думать, что она уже во Франции, что это — не чудом выпавший теплый денек, а самая наизаконнейшая весна. Скоро в Париж! Жанна вслух по-детски засмеялась.

— Очень приятно в такое, с позволения сказать, собачье время встретить веселую дамочку!

Рядом с Жанной оказался рыжий плотный офицер в круглой бараньей шапке. Испуганно вскрикнула Жанна «простите» и быстро пошла дальше. Но пудовая волосатая лапа мигом пригнула ее плечо. Послышалось гадкое дыханье спирта.

— Пустите меня! Как вы смеете! Я иностранка! Француженка!

— Вот это особенно приятно. Вы себе и представить не можете, как мне надоело русское бабье! А француженка — ведь это же шик, кокетки, сплошной шато-де-флер.

Жанна оттолкнула весельчака, но поскользнулась и упала на склизкую землю. В то же мгновение она услышала чей-то чужой голос.

— Разрешите узнать, в чем дело, господин поручик?

Кто-то бережно помог ей приподняться. Перед ней, улыбаясь, стоял офицер. Но это был не ее обидчик. Все произошло с такой кинематографической быстротой, что Жанна от смущения, вместо того, чтобы поблагодарить выросшего из-под земли спасителя, начала машинально чистить захватанное глиной платье. Незнакомец помогал ей, просто и деловито, как будто были они давними приятелями и гуляли вместе. Наконец, не вытерпев, он улыбнулся.

— Вы меня не узнаете, Жанна?

— Андрей?

Если Андрей и до этой минуты столь явно радовался неожиданной встрече, то теперь радость его должна была еще возрасти: на лице Жанны он мог без труда прочесть, кроме признательности и смущения, еще нечто другое — может быть, нежность?.. Значит, правда, она не совсем забыла его?

Пять лет тому назад, в последнее лето перед этой противной революцией, как будто нарочно сделанной, чтобы отнять у Жанны лучшие годы, на даче под Москвой познакомилась она с молоденьким студентом. Он тоже любил солнечный припек, звонкое «ррр» в стихах Гюго и приторные красные розы. А, может быть, он только говорил, что любит все это, потому что на самом деле немного, смутно, скорее от возраста и нахлыни летней, неведомой еще нежности, любил эту смуг-

лую, пугливую девочку, чужестранку, шалунью, по природе героиню, готовую в пятнадцать лет разыграть расиновскую Федру, дикарку, плакавшую тихонько от неудачно отданного поклона. Все это было давно. Если задуматься — в иной жизни, до великого переселения душ, пришедшегося на лето следующего года, когда переселялись не только души, но и тела, и когда Россия заочевала, грозясь и плача на крышах кряхтящих от натуги вагонов. Тогда он катал ее по царицынскому пруду. Кажется, раз, когда шли они в сумерках мимо дачных садиков, поблескивавших серебряными лунами шаров и дышавших левкоями, он поцеловал ее щеку. Может быть, этого и не было. Может быть, он только хотел это сделать, а нагнувшись, сказал что-то пустое и незначащее об игре в крокет. Они оба не знали, было ли это. В общем они мало думали о любви. Она входила в их жизнь на-ряду с любимыми книжками, крокетом и левкоями. Они были еще детьми.

Потом Жанна иногда вспоминала широкое улыбающееся лицо, на котором, точно споря с губами, печалились серые глаза. Вспоминала, когда ей становилось особенно грустно, в духоте теплушек или в передних, где часто разбуженные среди ночи, наспех одетые люди, прижимаясь друг к другу, ожидали очередных папак. От этих воспоминаний ей делалось еще грустнее: Андрей, ведь, исчез, вместе с другими, посылавшими приторные розы. Значит, и его проглотила эта злая революция.

Они держали друг друга за руки. Они оба улыбались. Они не могли ничего сказать. Это молчание было таким полным, таким большим, что Жанна испугалась. Улыбка еще не отошла от ее губ, но глаза томидись, билось сердце, подступала дурнота. Тогда, как бы желая спастись, она заговорила.

— Вы здесь? Давно? Вы офицер?

— Нет, Жанна, я не офицер.

Может быть, этого не следовало говорить. Ведь Андрей умел быть осторожным. Но есть много не совсем понятного в человеческих поступках. Увидав Жанну, он сразу стал мальчиком, да, тем самым мальчиком, что когда-то хотел поцеловать щеку смуглянки и не мог. Он готов был ей все, абсолютно все рассказать. Он твердо помнил одно: я ее встретил.

— Я не понимаю вас, Андрей. Я теперь ничего не понимаю в России. Вы не офицер? Зачем же вы в форме?

— Я здесь, чтоб подготовить восстание. Как только возьмут Перекоп, мы выпустим. Вы все еще не понимаете? Но я ведь...

И Андрей спокойно, внятно, произнес то слово, которое Жанна привыкла считать обидным и позорным. Как-то и Ростове папа, узнав, что в погребе найден трупик четырехлетней девочки с головой, разможенной колуном, сказал: «это безусловно большевики»; Жанна ему поверила. Так повторяли и все папины друзья: «разбойники, убийцы». И вот теперь Андрей говорит про себя. Бежать? Позвать на помощь? Расплакаться?

Бедная Жанна. Маленькая французенка из «Золотой Библиотеки» для счастливых и послушных детей, попавшая в страну папах и теплушек, как растерянно. как умоляюще взглянула она на Андрея!

— Ну, конечно же, я большевик! Разве я мог бы не быть с ними?

И Андрей улыбнулся, хорошо, честно. В этой улыбке была полная радость от того, что он подготавливает восстание, от того, что встретил славную девушку, еще может быть, от того, что на солнце тепло, что и зимой бывает весна.

Эта улыбка спасла Жанну, она напоминала ей: ведь это ж Андрей! Разве злые люди могут так улыбаться? Значит — делать восстание хорошо. Значит он прав. И Жанна на улыбку ответила, хоть поздней, но успокоенной, полной ласковости, улыбкой. Больше того — от сказанного он стал ей как-то ближе: теперь она посвящена в его тайную веру. Это было на грани между ребячьей игрой, скрываемой от ворчливых взрослых и той темной страшной судьбой, которая как бы стала раскрываться перед ней.

Он долго рассказывал ей, как дрался с белыми на Кубани, как помогал зеленым доставать оружие и для этого недавно разыграл в Судак офицера связи, как увлекательна и прекрасна вся эта возня в подполье, между смертью и победой, когда завтра могут быть равно виселица у ворот городской тюрьмы или цокот красной конницы, прорвавшей, наконец, перекопские плотины.

«Красные», «белые», «зеленые» — Жанна слышала эти слова. Правду сказать, — она их плохо понимала. Но даже, не понимая, с каждым словом, она все больше предавалась Андрею. «Готовить восстание» — это должно быть хорошо, это, как теплый ветер, в одну ночь переделавший ужасный город. Ведь, Феодосия же чудесная: беленькие домики, аркады, море! Странно, что она раньше этого не заметила... Революция это не одни обыски и карточки. Это, очевидно, еще многое другое. Это — Андрей, который готов за нее умереть. А за сахар, ведь, не умирают. Значит, это сродни тому, о чем

она учила в школе, значит это, как у Гюго. «Готов умереть». Но не нужно, чтобы он умер! Он должен жить! Она его увидит еще?

Вечерело. Внизу закопошились огоньки. Кто-то, терзая гармошку, наполнял все небо бабским истошным нытьем. Прорвалось несколько выстрелов...

— Может быть, разведка... расстреливают...

Его тоже могут расстрелять! Как зерно факира, Жанна с каждой минутой росла. Впервые тревога женщины прошла в ее детское сердце.

— Вот, я радуюсь, что мы встретились, а увидимся ли, еще не знаю...

И здесь произошло второе событие этого сумасшедшего дня, столь же неожиданное и таинственное, как наставшая среди зимы весна: сама не понимая, что она говорит, откуда у нее такие слова, Жанна ответила:

— Мне кажется, что я не могу без вас, Андрей...

Сказала и испугалась. А он все улыбался, только, казалось, еще грустнее серели его глаза. Просыпалось еще несколько выстрелов. Андрей невольно, нехотя прислушался. Ночью он должен был пробраться в Отузы. Жанне он ничего не ответил. Оба молчали.

Огоньки придвинулись, стаей бросились в глаза. Это была уж окраина города.

— Дальше мне нельзя, — сказал Андрей.

Сказал и, удержав ее руку, с той отчаянной нежностью, которую дает человеку лишь предчувствие большой, может-быть, непоправимой разлуки, поцеловал смугленькую ладонь.

По людной Итальянской Жанна быстро шла домой. Чувствовала: нужно думать, нужно осознать, что с ней случилось, но все оттягивала эту минуту. Вдруг, возле шумной кофейной, где толкались, промышляя фунты или лиры, кругленькие спекулянты, а меж их слипшимися животиками сновали мальчишки с папиросами и рахат-лукумом, в самой суতোлке Жанна остановилась. Ее никто не окликнул. Она могла бы идти дальше. Она остановилась от короткой, от самой простой мысли, пришедшей сразу, вместо сложного и длительного процесса обдумывания, который ей представлялся: ведь, это же любовь! Папиросники продолжали верещать. Какой-то грек внимательно поглядел на Жанну, что-то сказал ей. Жанна не слыхала. Она стояла и улыбалась.

Но успокоение длилось недолго. Появились другие, хлопотные мысли, которые всегда прибегают после большого и важного, как звонки визитеров после крестин или похорон. Любовь? Значит он должен войти в ее

жизнь? Войти в новую розовую комнату, которая где-то заменит проглоченную Россией, войти и остаться надолго, навсегда? Этот милый, но чужой и чуть-чуть страшный человек, у которого какие-то «зеленые» и «красные», должен стать ей близким вроде папы, нет, ближе папы? Жанне сделалось жутко. В голову кинулось слово, такое новое и дикое для нее, такое привычное для всех этих, спокойно гуляющих по набережной людей: «муж». Значит Андрей может стать ее мужем?

Так думала Жанна. Думать иначе она не могла. Так учила ее покойная мама, давно, в маленьком домике на берегу Луары, глядя Жанну по непослушливым волосам, еле удерживаемым лентой: «вот выростешь, выйдешь замуж»... Так наставляли ее в институте, приговаривая на уроках ненавистного рукоделия: «если не научишься, будешь плохой женой». Так говорили ей милые, узенькие книжки в желтых обложках: любовь-поцелуй-жених-счастье.

Мир Жанны был тесен. В нем не нашлось бы места горам. Но зато исполинскими казались в нем крохотные безделушки на ее туалетном столике, или лепестки маргаритки, по которым можно было гадать «любит — не любит». Можно было гадать, но только до того часа, когда пришла и вправду любовь — ведь ей не до маргариток.

В этот тихий мир ворвался Андрей, кажется, сломал что-то, рассмеялся, большой, в сапогах (папа носит только полуботинки), страшный, как Россия, милый до слез, совсем мальчик, Андрей!..

Да, Жанна хочет, чтоб он был ее мужем! А папа? Ведь папа совсем другой — они не поместятся вместе. Папа, старенький добрый папа с «*Journal des Débats*» — куда же его поместить? И Жанна, за минуту до этого полная такого счастья, что кружилась голова и все кругом — виллы, купальни, играющие татарчата — сливалось в один дрожащий голубоватый газ, Жанна теперь почти шаталась от боли. А папа? А Луаретт — родной ее городок, где запивают горячие каштаны молодым мутным вином, играют в трик-трак, а любят, если только книжки в желтых обложках не врут, тихо, весело, просто: поцеловал — значит муж и покой. Андрей?.. Хоть Жанне было совсем не до смеха, она улыбнулась, представив себе Андрея, играющего в трик-трак с Шало, нотариусом Луаретта. Какой вздор! «Красные», «зеленые». «белые». Нет, с ним не будет покоя! Но Жанна и не хочет покоя. Вот папа?.. А без папы нельзя.

Так думала Жанна. Она уже стояла перед уродливейшими нимфами, каменными тушами, завалившими фасад роскошной виллы «Ибрагия» каранна Сарума, в

которой помещались теперь Ней. Она уже положила руку на голову медузы, кроме образца высокого искусства являющуюся еще звонком. Но тогда раздался снова один сухой отчетливый выстрел. «Разведка»! Жанна вспомнила, с какой горечью прощался Андрей. Нет, только одно — чтоб он жил! Я сказала ему правду. Теперь я наверное знаю: без него не могу. А папа? Но папы в ней не оказалось. Напрасно она пыталась его восстановить: не могла. Лишь бы его не убили! Остальное неважно, остального попросту нет.

Так вот какая любовь! И с этой мыслью высокой, невыносимой Жанна позвонила. Голова медузы качнулась. Если б она могла передать все смятение Жанны, то наверное раздался бы не обычный звонок на парадном, а страшный набат.

3.

О клопах и о вдохновении.

Безусловно во всемирном паноптикуме ужасов одно из первых мест уготовано обыкновенному, достаточно паршивому номеру любой второразрядной гостиницы русского захолустья. Когдаходишь в него и душу охватывает сложный запах залежанных тюфяков, пудры «гелиотроп», карболки, постных оладий, сразу становится очевидным, что произошло здесь нечто недоброе. Может быть, вот на этом крюке, что в левом углу, повесился какой-нибудь зобастый шулер, заслышав шаги понятых и веером напоследок рассыпав крапленую колоду? А потерявший от пудов человеческого сала всяческую окраску, выпятивший все ребра наружу страшный диван — не на нем ли слюнявый старикашка то пичкал плачущую девочку карамелью «Ирис», то щипал ее с вывертом, чтобы поздно ночью подкинуть в отхожее искорманный трупик?

Вполне вероятно. Номер многое видел, а видя, продолжал гостеприимно впускать новых жильцов.

Нет лучшего убежища для человека в жизни все потерявшего. Приехать сюда, отослать запасного полового, оставившего на столе зеленый подсвечник, облепленный кашей стеарина, лечь на ребрастый диван и не спать, нет, глядеть, слушать: на обоях масляные оттиски многих и многих голов, назойливо каплет вода в рукомойнике, изумрудный графин, стакан, в котором не раз по ночам мокли зубы — гордость различных дантистов, особенно злые номерные мухи, доука, дрянь, забвенье. Тогда легко и просто подойдет смерть, эта постоянная жилища, на правах хозяйки, стирающая мимоходом имена жильцов с черной грифельной доски, с той, что у входа.

Номера эти стали еще страшнее в годы гражданской войны. Не в квартиры, где душно было от настоящего годами уюта, прямо сюда в первую очередь ки-

дались разные гости на час, белые, красные, всяких мастей. Наспех здесь размещалась контр-разведка или чека. На ночные столики ставили пишущие машинки с продырявленными насквозь лентами, закидывали вонючие коридоры винтовками и приступали к работе.

Осколки зеркал, проглотивших в свое время и язык повесившегося шулера и слезы бедной девчурки, теперь вбирали последние взгляды людей, которые плакали, валялись в ногах или стойко под дулом молчали.

В номерах кутили «осважники», кутили так, что вся улица полнилась бряком бутылок, похабными песнями, вскриками еще не ко всему привыкших мешаночек, рыком блюющих, шальной пальбой.

Не такие вот диваны кидали раненых и тифозных. Ночью все бабки в соседстве, слыша бред и вой, усердно крестились. Уходили одни, вслед являлись другие. Раненых, оставленных вместе с пустыми бутылками, добивали, добивали здесь же, в темных, сырых номерах.

Вот в одном из таких номеров феодосийской гостиницы «Крым», в традиционном номере, на почти историческом диване, подпираемый всеми его ребрами, лежал некий мрачный субъект.

В соседних комнатах шла попойка: это гвардейцы справляли свой полковой праздник, реквизнув по сему, вполне законному поводу, у сонливого татарина, пробиравшегося ночью из Отуз в Феодосию, боченок вина. Они-то орали «ура» в честь своего августейшего шефа, то, вспомнив, что шеф давно отошел в иные миры, чинно вставали и минуту молчали на английский манер, то просто резвились, — не все ж воевать — и, посадив актрису Орлову (она же Ривочка Блох), в, увы, пустой боченок, чистили ее голые бедра казенным бензином, как в красильне чистят костюм.

Но мрачный субъект не помнил шефа и не возился с Ривочкой Блох. Почему же его не позвали на празднество? Хотя жалкий огарок едва пробивал твердую темень номера, все же было видно, что лежит на диване штатский, в брюках на выпуск. Поглядеть — обыкновенный проезжий. До революции он мог бы легко сойти за комми или даже за туриста. Но теперь гостиница «Крым» находилась в ведении штаба какой-то армии, кажется, астраханской. Значит, субъект занимал некий, кажется, астраханской. Значит, субъект занимал некий хоть сопливый, однако чрезвычайно пронырливый грек. Разные слухи ходили.

Одни говорили: газетный пачкун, все время вертелся в ростовском «Осваге». Другие стояли за Мариуполь:

как будто субъект служил там в разведке и даже до-служился до скандала: во время допроса стянул мимоходом с руки инженера Шароля сапфировый перстень; на беду инженер оказался не только французом, но и свояком военного аташе.

Так или иначе, служба загадочного лица являлась делом прошлым. Наблюдательный Аристарх твердо знал, что в Феодосии постоялец болтается зря, и доходов, ни виде перстней, ни других, не имеет. Вот только разок, заманив мичмана-итальянца с транспорта «Элена» зайти посмотреть коллекцию непристойных открыток, субъект у него выиграл в железку что-то около тысячи лир. Прокридал же он их ровно в четыре дня, длячего абсолютно истощил гастрономический магазин Зезона, славившийся не просто «го—», но особым, любительским «го-го-сотерном», а также заставил не менее двух дюжин особ женского пола ознакомиться со всеми удобствами номеров «Крым». После этого он дней десять курил окурки, невыметенные разиней. Аристархом, а обедал в дешевой столовке для артистов при кооперативе фармацевтов, куда устроила его одна из четырехдневных фавориток, получившая в свое время за часовой визит целую стопочку иностранных кредиток.

Теперь мрачный субъект имел все основания быть мрачным. Окурков больше не было ни в ведре, ни под диваном. Выдачу обедов, вследствие скупости фармацевтов, со вчерашнего дня прекратили. Что касается Аристарха, то это был черствый, лишенный доверчивости человек, отнюдь не расположенный отпускать водку в кредит. Оставалось, все в жизни потеряв, лежать, так сказать обрядно, на диване, на том самом диване. Он это и делал.

Кроме всего донимали клопы. Пока он жил светской жизнью, то есть, пил сотерн, любезничал с дамочками, сдавал карты, эти, не лишенные сообразительности, насекомые, очевидно, жили тихо в различных укормных щелях. Но как только залег он на диван, забыв совесть, выползли они густыми стадами и в одну минуту покрыли тело злополучного анахорета крупной, красной сыпью.

Субъект давил их большим пенковым мундштуком с золотой монограммой, который он, за отсутствием папирос, теперь просто сосал, как соску. Клопы удивительно плохо пахли. Субъект трудолюбиво давил их, чесал особенно чувствительные места на боках, снова запихивал в рот горькую соску и думал: какая же гадость, откровенно говоря! Хорошо бы теперь обрызгать себя одеколоном...

По одному этому видно, что субъект, хотя и пользовался известным рецептом и завалился в номере на диван, но умирать никак не собирался.

Действительно, вдруг он энергично заворочался. Происходило это не от нового натиска клопов, но по причинам чисто духовным: надо было на что-нибудь решиться. Мундштук или портсигар? За три последних года мрачный субъект все растерял, последнее взяли московские или ростовские бабы в обмен на водку, а то и на хлеб. Но две вещи он сберег и был к ним привязан с нежностью исключительной. Он суеверно верил, что мундштук, купленный лет десять тому назад на Сухаревке и сверкающий таинственными инициалами «Р. Н.», помогает ему при игре: стоит только засунуть в рот и обязательно выйдет девятка. Вера эта не всегда подтверждалась фактами, но все же оставалась непоколебленной. Что касается портсигара, с изображенной по эмали голой дамочкой, играющей на мандолине, то он, по мнению субъекта, немало способствовал ему в успехе среди обыкновенных не эмалевых дам. Сейчас предстояло сделать выбор. Еще раз подскочив на пружинистых ребрах, субъект решительно спрятал портсигар в карман. Похвальный поступок: очевидно больше всего в жизни он ценил любовь.

Мундштук же немедленно был вручен Аристарху, хитро пальцем утиравшему нос. Минут пять спустя на ночном столике появились: рассыпные папиросы, бутылка водки, камбала по-гречески, то-есть, в мутной ржавой жиже, и вместо хлеба, съеденного начисто гвардейцами, истекавшие жиром пончики. Субъект сочетанием не смутился. Он пил жадно, закусывая то рыбой, то пончиком. Настроение явно менялось. Клопы из мирового вопроса стали неважной деталью, возможно даже, что они снова ушли в свои щели. Сглотнув седьмую или восьмую рюмочку, он вынул портсигар, сосредоточенно взглянул на мандолину и на все прочее и громко сказал:

— Да-с. Женщины. Париж. Настоящий демимонд. Надоело! Бокал Ирруа за прелестных дам!

Здесь нельзя было не узнать в этом случайном постояльце феодосийских номеров исконного москвича, даже гордость былой Москвы, одного из совладельцев пресловутой конторы в Черкасском переулке, Никифора Игнатьевича Халыбева. Бедный овдовевший Нейхензон, как он умилился бы, увидав своего друга, несмотря на все злоключения, на подлость мариупольского Шароля, на полнейший крах газеты «Православный Набат», на тупоумие и скупость Аристарха, несмотря на все это,

бодро кричающего после каждой, с таким трудом добытой, рюмки! Халыбьев разок икнул: это наверное Нейхензон нежно вспоминал его. Но Халыбьеву было не до воспоминаний, перед ним стояло одно: деньги, тогда Париж-женщины-жизнь, или?... Или клопы! Деньги, во что бы то ни стало!

Прошли еще три рюмки. Вдруг смутная улыбка, которую нельзя определить иначе, как вдохновенной, появилась на его добротном, породистом, не по паспорту только дворянском лице.

— Аристарх! Чернила! Бумагу!

На сером листке, забрызганном греческой частью камбалы, бурыми, что ни минуту доливаемыми водой чернилами, Халыбьев писал, писал, отрываясь, задумываясь, прислушиваясь. Гвардейцы давно затихли, в номерах остался лишь звон падающих из рукомойника капель и чей то размеренный храп. Халыбьев прислушивался к тишине; так мечтательный поэт настороженным ухом ловит капризную рифму. Потом он снова писал. Он был воистину одержим своим творчеством. Его, как известно, нервная рука прикрывала короткие, отрывистые строки. Может быть, это были элегические стихи, посвященные эмаливой красавице с портсигара? Но нет, вместо соответствующего посвящения, наверху листа ясно значилось: «состав резервных частей на польском фронте».

Кончив писать, уж под самое утро, когда закопошились в номере тот самый крюк и тот самый диван, а из треснутого зеркала выплыло измученное, но просветленное вдохновением лицо, Халыбьев достал визитную карточку и не без удовольствия прочел: «Nikifor Khalybieff». Rédacteur en chef de «Pravoslavny Nabat.» «Есть», как сказал бы, оставшийся далеко в Москве Полукс. Завтра надо с утра побриться.

Хотя было уже нечто сильно напоминавшее утро, Халыбьев все же решил раздеться и часок-другой поспать. Проглотив последний пончик, он зажмурился от неги: будет женщина, пухленькая, понпонпончик! И вдруг заметил на подушке клопа. Но Халыбьев не раздавил его. Он пощадил клопа и не оттого, что мундштук, приспособленный им для уничтожения этих тварей, перешел к Аристарху, нет, от просветленности, от умиления: чорт с ним! Пусть себе живет...

4.

Деловое утро господина Альфреда Ней.

Господин Альфред Ней читал газету, но читал он ее без пафоса и отнюдь не радуясь. Даже по его угрюмо отсвечивавшей лысине было совершенно ясно, что газета эта не милый „Journal des Débats“, а «варварский лепет сумасшедшей страны, забывшей все правила морали» и так далее, или, короче говоря, «Крымский Курьер», достаточно вежливо, однако, вполне ясно сообщающий об успехах красных на фронте.

— Я же писал им! Мы только зря тратим деньги. Они не верят. Сидят в Париже и думают, что здесь самая обыкновенная, мирная война! Здесь не война, здесь чорт знает что такое! Здесь просто драка взбесившихся собак. Пока они не перегрызут все друг друга, нам здесь нечего делать.

Так брюзжал господин Ней. Брюзжание это прервала Жанна, которая тихо вошла в кабинет и ласково поцеловала лысину отца.

— Доброе утро, моя девочка. Дела из рук вон. Вероятно, недели через две-три мы тронемся в Париж. Ты рада?

Но лицо Жанны не выражало никакой радости. Наоборот, ее черные, от бессонной ночи обрамленные синью глаза глядели на отца как-то по новому: грустно и потерянно. Это несколько озадачило господина Ней.

— Что с тобой, детка? Не больна ли ты? Ты плохо выглядишь. Может быть, позвать доктора?

— Нет, я здорова.

— Что же случилось?

— Я хотела вам, папа, сама что то сказать. Только мне ужасно трудно говорить. Обождите, я сейчас скажу! Со мной случилось ужасное. Я, вероятно, погибну.

Жанна расплакалась. Господин Ней не на шутку взволновался. Мало ли что может случиться с молодой девушкой в этой дикарской стране? Жанна

вчера гуляла одна, домой вернулась поздно, заперлась, не вышла даже к вечернему чаю. Что это все значит?

— Папа вы должны меня понять! Я сама не знаю, как это случилось. Я кажется... люблю!

— То есть, как это «любишь»? Да ты сама понимаешь, что ты говоришь? Отвечай же мне! Ты сделала какую-нибудь глупость?

— Я ничего не сделала. Но я говорю вам: я люблю. Это ужасно! Я могу теперь все сделать!

— Я тебя не о том спрашиваю. Ты не понимаешь? Как бы это сказать... Ну, например, он тебя целовал?

— Один раз, руку.

Господин Ней сразу успокоился. Он даже повеселел. Нелегкое дело одинокому вдовцу воспитывать дочь, и к тому же еще здесь, в этой варварской стране. Но хорошо, что все так кончилось! Утешенный родитель даже начал насвистывать нечто игривое из «Кармен». А Жанна все плакала. Взглянув на дочь, господин Ней вспомнил ее слова и снова рассердился.

— Изволь бросить эти флирты с дикарями! Вот приедем в Париж, тогда... Кто он, этот нахал?

— Он? Он был студентом, а теперь... теперь он...

Нет, этого Жанна не могла выговорить! Целый час господин Ней пытал ее, но не мог ничего добиться.

— Может быть, он нищий? Ведь, теперь здесь даже порядочные люди стали нищими. Почему ты не отвечаешь мне? Ты хочешь убить меня своим упрямством! Что же он, вор?

— Нет! нет! Папа, вы не должны на меня сердиться! Но он... он большевик! Нет, не говорите, он не преступник, он другой большевик, хороший!..

Этого господин Ней уже никак не мог вынести. Его лысина красноречивей хрипа и отдышки говорила, что он может сейчас умереть. Неблагодарная дочь! Он встал. Задышавшись, он расстегнул жилет. Он походил на героя античной трагедии. Он готов был уже проклясть свою дочь, когда вдруг опомнившись, сообразил: ведь она же просто дурочка! Ну, поцеловал разок руку — это еще не беда. Накричать хорошенько и все мигом пройдет.

И господин Ней начал не кричать, но реветь, так что задрожали все японские вазочки сбежавшего в Константинополь караима Сарума.

— Он хочет тебя обесчестить! Ты понимаешь это? Как простую горничную.

— Нет, неправда! Он меня тоже любит. Он может стать моим мужем.

Здесь господин Ней не удержался: выявляя страшный сарказм, он неестественно, по оперному захохотал.

Лысина его уже начинала лизоветь и приходилось серьезно опасаться за его здоровье.

— Мужем? Скажите! Да разве большевики могут быть мужьями? Это не мужья! Это... это... верблюды! Это хуже верблюдов — это апаши! Я тебя запру! Пусть только он попробует нос сюда показать. Я его арестую! Я его повешу! Я его...

Осталось невыясненным, что еще собирался сделать с наглецом возмущенный отец. Слуга Ваня уже давно стучался в двери кабинета, но рык господина Ней покрывал все прочие звуки. Рык этот доходил и до приемной, где некий посетитель, слыша его, от страха зяб: казалось, что в доме не член французской миссии, а абиссинский лев. Наконец, Ваня, которому стучать надоело, приоткрыл дверь, и в щель пролез его насмешливый носик. Этот носик и оказался общим благодетелем: он прервал тяжелое объяснение, а, может быть, спас господина Ней от удара. Ваня почтительно подал своему хозяину визитную карточку, на которой было приписано карандашом: «по крайне важному и секретному делу».

У дверей кабинета заплаканная Жанна столкнулась с посетителем, который был не кем иным, как Халыбьевым, кое-как принаряженным и только что выбритым. Эта встреча на обоих произвела хоть и разное, но равно сильное впечатление. Жанна подумала: какая отвратительная физиономия! И эта бородавка на щеке... Брр! Конечно, такая оценка являлась несколько субъективной: Халыбьев, как никак, несмотря на свою бородавку, пользовался у многих дам успехом.

Халыбьеву, наоборот, Жанна понравилась: аппетитная девочка! Даже слезы и растрепанные волосы скорей умилили его. По мнению Халыбьева, известная взволнованность шла молодым женщинам, она делала их еще более соблазнительными.

На беду Халыбьева встреча эта длилась не дольше секунды. Жанна быстро пробежала к себе наверх.

Полчаса спустя, прощаясь с господином Ней, Халыбьев крайне развязно сказал:

— Я здесь видел очаровательную барышню. Это, кажется, ваша дочка?

— Да, это моя дочь.

— Может быть, вы как-нибудь представите меня ей? Господин Ней раздосадованно кашлянул.

— При нашем деловом характере знакомства я нахожу это совершенно излишним.

Халыбьев уже шагал по набережной, а господин Ней все еще покашливал от возмущения. Здесь нет честных людей! У нас был Карно. Здесь только апаши и ни

одного патриота. Такому субъекту я готов заплатить, если придется, даже хорошо заплатить, но знакомить его с Жанной... Нет, положительно надо скорей уезжать в Париж!

Халыбьев же, шагая по набережной, злился: нахал! Задирает нос! Девочка, правда, приятная. Конечно, такая дорого стоит: франки, валюта. А этот папаша кинет десяток «колокольчиков» и все тут. Паскуда! Все-таки большевики молодцы, лупят во всю эту французскую сволочь. Лягушки! Мы им еще покажем, что такое Россия! А, впрочем, лучше всего пробраться в Париж. Валюту достану. Тогда держись!.. Пожалуй и этот папенька заюет по другому. А девочка, слов нет, очень приятная. Но главное деньги!

5.

О чем пел старый Ахма-Шулы.

В кофейной Ахма-Шулы, которую легко было разыскать на базарной площади по оригинальной вывеске, являвшейся не то названием учреждения, не то его девизом, а именно «Придержишь Конь», было весьмалюдно. Сам Ахма-Шулы, меланхолический татарин, что ни минуту подносил к шипящим в очаге уголькам медный кофейник, с крохотной головкой на аршином хребте. Служанка русская баба Феся, жалостно зевая, разливала из самовара чай. Имелись еще черствые булки и сальные чебуреки, по отзывам конкурентов начиненные собачьими хрящами. Когда вошел в кофейную богатый татарин. Осман Сейдуль, владелец лучших фруктовых садов в Отузах, Ахма-Шулы забросил всех гостей, он стал, ритуально покачиваясь, готовить из специально смолотых зерен и козьего молока, «кофе по султански». Все прочие посетители могли бесплатно вдыхать животельный запах напитка. Они так и поступали. Но даже это удовольствие не веселило их. Голоса, не слова, которых никто понять не мог, так как посетители заведения «Придержишь Конь» говорили по меньшей мере на пяти различных языках, нет, самый тембр голосов свидетельствовал о всеобщей огорченности. Тяжелые времена!

Татарин из деревни Козы издавал особенно грустные звуки. Это был тот самый татарин, у которого веселые гвардейцы, что жили в гостинице «Крым» реквизировали накануне боченок вина. Но и коктебельские болгары имели все основания быть недовольными: их заставляли свозить даром для военных нужд дрова. Грек из Арматлука жаловался на ингушей, которые говорят, что ловят каких-то «зеленых», а на самом деле только пугают греческих мам и жрут греческих кур. Отузские немцы педантично осуждали общий непорядок: винтовки сделаны не для того, чтобы из них среди бела дня стре-

лять в немецких молочных коров. Солдаты Фридриха Великого так не поступали! Что касается русских из Султановки или Насыпкоя, то они ни на что не жаловались. Потев от Фесиного чая, они поочередно или смачно ругались, или горько вздыхали. Было ясно, что им хорошо знакомы обиды этих разноязычных людей, но, что ко всему у них имеется еще одна, главная и никакими словами невыразимая: наболело вот тут, где, в точности неизвестно, но очень наболело!.. Даже богатый татарин, похлебывавший знаменитый «кофе по султански», и тот не радовался ни сладости, ни аромату напитка. Что ему кофе? Что ему все персиковые деревья Отуз, когда его единственного сына, ушедшего в горы к «зеленым», убили злые пришлые люди? Проклятые времена!

Только два человека, с виду похожие на мелких базарных торговцев, мирно пивши в углу кофе, не принимали никакого участия в этих сетованиях. Очевидно, политика мало их занимала. Они частенько поглядывали на дверь, кого то поджидая, может быть, спекулянта, скупающего шнурующиеся доверху сапоги и теплые верблюжьи фуфайки, которое присылало в Феодосию наивное начальство господина Альфреда Ней для успешного ведения мирной войны.

Взглянув на них разок, старый Ахма-Шулы подумал: что ж, эти зашибают деньги!

Ахма-Шулы ошибся, но ошибка его вполне простибельна. Разве Жанна вчера не приняла Андрея за самого заправского офицера? Окажись девушка сегодня в этой кофейной, она бы, пожалуй, и вправду решила, что Андрей торгует на соседнем базаре краденной амуницией. Это делает честь искусству Андрея: он был хорошим конспиратором. Сейчас никто не узнал бы в нем заливчатского поручика, утром прискакавшего из Отуз. Сидел же с ним Никита, черноморец, дезертир, человек очень смелый и отменный добряк. Как-то Андрей, скрываясь, провел с ним неделю близ Алушты в горах, там они и подружились. Ждали... Кого ж они ждали? Кого-то по очень важному делу; из за которого Андрей и остался в Феодосии, хотя должен был прямо проехать в Керчь.

Действительно, вскоре в кофейную вошел молодой паренек и тщательно пересмотрев все столики, пробрал в угол, где сидели поджидавшие его люди. Это был Ваня, веселый курносый Ваня, слуга Ней, сегодня утром спасший своего хозяина от апоплексии. Странное сочетание—Андрей и кто-то оттуда, из виллы «Ибрагия», где плачет обиженная отцом, измученная своей любовью маленькая Жанна. Но Ваня не передал трогательно смятой

записки. Андрей и не ждал этого. У них были совсем другие дела. Феся поставила на стол стакан чая, отчаянно при этом зевнув. За столиком началось шушуканье: наверное продают фуфайки!

Тихонько Ваня выкладывал:

— Важные документы... я все слышал... продал какой-то мерзавец...

Андрей помрачнел.

— Надо отнять.

— Да, но только сегодня ночью. Завтра уходит дипломатическая почта — отошлет.

Никита спросил:

— А ты дверь нам откроешь?

— Открою.

Ваня спешил: его послали на одну минутку в магазин Зезона за лимоном; господин Ней, обессиленный утренней беседой со строптивой дочкой, решил подкрепить себя стаканом доброго грога.

Когда Ваня ушел, Андрей, немного помявшись, сказал:

— Слушай, Никита, постарайся, чтобы там было сухо. Убивать, ведь, не будем?

Никита удивился, даже подбородок почесал.

— Там твоя родня, что ли?

— Нет. Какое там! У меня только жена в Москве, а больше никого на всем свете. Чисто.

— Ну, не родня, так знакомые? Ваня говорил, что у этого французика славная дочка. Может, ты с ней?...

— Я ее и в глаза не видал. Просто говорю, что трогать не стоит: взять бумаженку и все.

Кажется, Никита усмехнулся: он был немолод, много плавал и многое видел. Он знал людей. Но, может быть, это Андрею и показалось, а Никита вовсе не усмехался. Кажется, даже, наоборот, он грустно наморщил обветренный лоб. Во всяком случае, прощаясь, матрос сказал:

— Значит в два у водокачки? Трогать никого не будем, только документ отберем.

Потом, уже дойдя до двери, он вернулся.

— Может, ты не хочешь итти? Тебе ведь в Керчь надо. Так ты скажи, я один управлюсь.

— Нет, что ты! Я с тобой. Значит в два.

Андрей остался один. Он попросил еще чашечку кофе. Что происходило в нем? Борьба? Радость исполненного долга? Страх потерять любимую девушку? Нет, Андрей был слишком молод, слишком беспечен, чтобы думать об этом. Он сделал свое. Он спас жизнь врага,

спас потому, что это отец Жанны — вот и все. А Жанну он потерять не может. Она выпала сама собой, как выпадает счастливая карта. Она досталась на его долю, как солнце, как здоровье, как революция. Жили же другие весь век без революции. Есть страны, где вместо солнца один туман. Есть калеки или слепые. Есть и жизнь без любви. А Андрей? Андрей родился, чтобы быть счастливым!

Он долго сидел в темном углу. Разошлись, верней разъехались по своим Отузам и Насыпкоям обиженные, печальные люди, разъехались в трясучих телегах, которые, казалось, громыхая, приговаривали: времена! проклятые времена!

Старый Ахма-Шулы, грея высушенные пальцы на углях очага, начал петь: ведь, гости ушли и у него никто больше не спрашивал кофе. Он пел протяжно и страшно, пел долго, может быть, час, может, и больше. Феся даже зевать перестала; убаюканная, она сидя заснула. Ахма-Шулы все пел. Мудрый татарин знал, что нет ни проклятых, ни благословенных времен, что во все времена люди или плакали, или смеялись. Он хорошо понимал, что сидящий в углу молодой гость, так задорно, так безпечно поглядывающий в посиневшее окно, наверное мечтающий о красивой женщине, о славе, о счастье, может загрустить, может даже заплакать, но пройдет час или год, и он снова развеселится. Он знал также, что ничто уже не в силах развеселить старого Османа Сейдуля из Отуз, у которого много персиков, но у которого нет больше единственного сына. Еще он знал, что скоро уже никакие угли не смогут согреть его зябких пальцев. И зная все это, он особенно печально пел. Пенье его было таким печальным, что даже Андрей не выдержал и вздохнул. Почему то этот вздох, — только вздох, слов не было, — вышел похожим на милое чужеземное имя.

Но выйдя на площадь, где было много соленого ветра, голосов прохожих, а выше необычайно ярких, как бы раздутых ветром, звезд, Андрей больше не вспоминал ту, к которой скоро должен был придти незванным, страшным гостем. Он просто широко шагал, слушал свои шаги и улыбался.

6.

Норд-ост

К ночи подул норд-ост, подул сразу и жестоко. Зима снова в четверть часа овладела Феодосией. Быстро опустели улицы. Если какой-нибудь мелкий спекулянт, одержимый желанием во что бы то ни стало купить у английских матросов, под вечер прибывших в город, вожделенные фунты, и решался высунуть нос, то этот нос, остренький, предприимчивый нос спекулянта мгновенно лиловел. В темноте пустого города жалостно бились ставни. Были оставленные на своих служебных постах, дворовые псы. Ужасней псов был главный виновник всех городских бедствий, только входящий в силу норд-ост. Ему было мало угрюмого моря, с мечущимися, как куры по двору, фелюгами, мало темных разбойных дорог, где, поймав колесо, мог до утра дрожать от холода и страха кто-нибудь из печальных посетителей кофейной «Придержишь Конь», мало феодосийских улиц, носов спекулянтов, жалюзи и собак. Он нагло залезал в дома, в протершиеся, давно неремонтированные дома нищего города.

У кого были дрова — топили печи, у кого был подобранный в окрестных лесах, хворост — раздували дымные жаровни. Те, у кого не было ни дров, ни даже щепок, просто жались друг к другу, стараясь слабым человеческим теплом хоть немного смягчить это дыхание снежной российской степи.

Господин Альфред Ней получал жалованье во франках. Разумеется, у него было сколько угодно дров, и Ваня с вечера затопил печку. Но плохо ли построил караим Сарум свою виллу, или слишком силен был ветер, но даже печка не могла помочь. Приподымая оконные гардины, норд-ост обдавал лицо господина Ней, разморенное от тепла печки и от грога, своим ледяным дыханием.

Господин Ней нервничал. Его выводил из себя этот ужасный, неподобный вой. Он был готов сам завывать, как

выла старая собака во дворе виллы «Ибрагия». Он не решался раздеться и погасить свет: все равно ветер не даст уснуть. Лучше написать сейчас письма в Париж — ведь завтра уходит почта.

Но вместо листа бумаги господин Ней прежде всего взял конверт. Он написал адрес. Это надлежало, разумеется, сделать позже, когда письмо было бы уже написано. Однако, господин Ней поступил вопреки обычаю. Выписав же слово «Париж», он вовсе уронил ручку. Положительно, нервы его шалили. Он впадал в крайнюю, почти nepазволительную для члена официальной миссии, чувствительность.

Кроме норд-оста, повинна в этом была и Жанна. Вечером, уже после ужина, за которым они оба молчали, произошло примирение. Точно условившись, они даже не упомянули об утреннем разговоре. Господин Ней рассказывал дочке о Луаретте, о своей покойной жене. Как они хорошо тогда жили! Возвращаясь с ранней мессы, госпожа Ней всегда приносила большой букет глициний или астр. Потом они пили кофе на веранде. То-есть, пил его только господин Ней, у госпожи Ней было слабое сердце, и врач запретил ей любимый напиток. Она заботливо спрашивала: «достаточно ли он крепкий, мой друг?» Они глядели на берег Луары, по которому гуляли, обнявшись, луареттские девушки, такие стройные, милые, в больших, неуклюжих сабо. Иногда госпожа Ней жаловалась на сердце. Тогда она прижимала к себе маленькую, шаловливую девочку и тихо ее баюкала: «dodo, ma petite Jeanette!» Все это вспомнил господин Ней, и не только Жаннета, ставшая большой, грустной Жанной, всплакнула, прижавшись к отцовскому плечу, нет, и близорукие, без пенснэ такие растерянные глаза члена миссии тоже помутнели, как мутнеет зеркало от человеческого дыхания.

После этой беседы господин Ней прошел в кабинет и расстроганный, и расстроенный. Там то и доканал его норд-ост. Как он мог писать деловые письма? «Париж!» Попадет ли, наконец, туда господин Ней? Он чувствует старость. Донимают давние боли в печени. Неужели смерть в этой проклятой стране? Париж! Даже кладбище Пер-Лашез с платановыми аллеями теперь казалось ему обетованным. Он мог сейчас же заплакать. А норд-ост продолжал свое темное дело.

Наконец, господин Ней немного собрался с силами. Вынув из портфеля листок, полученный от редактора газеты «Православный Набат», он внимательно перечел его. Презирая Халыбьева, господин Ней не только не укорял себя за совершенную сделку, но свое поведение считал достойным всяческого уважения. Как никак, этот

субъект — русский. За двадцать пять франков, по сегодняшнему курсу, он продал свою родину. Среди русских нет патриотов! Белые тоже апаши. Он уже писал об этом в Париж. Он же, Альфред Ней, блюдет интересы Франции. Сыск — высокое и похвальное дело, конечно, если только направлен на защиту справедливости и морали. Вот младший брат господина Альфреда Ней, господин Раймонд Ней — как все его уважают в Париже! Он основатель лучшей в мире конторы частного розыска. Он стоит на страже собственности и семьи. Господин Альфред Ней сейчас выполняет еще более высокую работу: как солдат Великой Армии, среди этой дикой страны, он стоит на страже прекрасной Франции!

«Франция» — и вновь господин Ней забыл вопросы долга и высокой политики. Пахучие глицинии ворвника на Луаре. Жена! Ивонна! Как Жанна похожа на нее! Как похожа! Надо сказать ей...

дись в его мозг, как они ворвались когда-то в окна до-

Но мысль своей господин Ней не успел закончить. Взглянув изумленно на дверь, откуда ворвался в кабинет торжествующий норд-ост, он прежде всего увидел два направленных на него дула.

— Будьте любезны отдать нам военные документы, которые вы сегодня приобрели.

Господин Ней тотчас же ответил:

— Сейчас достану.

Облегченно вздохнул Андрей: все обошлось хорошо. Никита даже засвистел от удовольствия. Господин Ней открыл правый ящик письменного стола. В голове его было: Карно, патриот, Франция, русские — трусы, нет, ни за что!.. Где-то послышался шопот легких шагов. Никита оглянулся на дверь. В ту же секунду раздался выстрел: это господин Ней, быстро выхватив из правого ящика револьвер, уложил на месте Никиту. Тотчас же пальцы Андрея, не голова — до мыслей ли было? — одни пальцы ответили тем же. Чуть вскрикнув, господин Ней сполз на ковер.

Все это длилось одно мгновение. Когда Андрей опомнился, он увидел два трупа, а в дверях белую Жанну. На ней была ночная рубашка до пят, в которой тонуло ее маленькое тело. Глаза стояли, как стоят стрелки на циферблатах нарисованных часов. Дыхания не было. В большом кабинете люди как-будто отсутствовали, за всех плакал, каялся, проклинал долгий норд-ост.

И увидев глаза Жанны, беспечный Андрей согнулся, замер, сдал сразу всю свою силу. Он готов был упасть на этот ковер третьим трупом. Он не мог жить. Он не

пробовал ни заговорить, ни двинуться с места. Он глядел на Жанну, но он не мог ее видеть. Казалось, он тоже мертв и только случайно еще стоит.

Тогда раздался голос Жанны. Это не был голос маленькой девочки в детской рубашке до пят, час тому назад со слезами вспоминавшей, как мама ей напевала „dodo“. Это говорила женщина, взрослая женщина, которая своим горем была мудрее этого прочитавшего много книг человека и своей любовью сильнее его.

— Бегите! Бегите ж скорей!..

Повинуясь этому голосу, не смея взглянуть на Жанну, больше смерти страшась ее глаз, Андрей бессмысленно зашагал, как заводной солдатик. Он вышел на набережную, где уже поджидал его громкий норд-ост.

7.

Две Жанны.

На платформах вокзалов, у мостков пароходов люди прощаются с другими людьми, они плачут при этом Жанна одна не плакала. Есть еще похороны — тогда мертвых людей, строя торжественные гримасы, кладут в мокрый суглинок. Но Жанна числилась живой. Ее состояние можно сравнить лишь с отчуждением тяжелого больного, который неделями лежит, повернувшись к стенке. Он дышит, он спит, он ест в обыкновенной комнате в той же, где жил прежде. Но мир его иной. Мир этот состоит из огромного бреда, из невыносимых, знакомых до одури, навек поселившихся в воспаленных глазах завитков обоев, из кривой температуры, суток, больше не разрываемых ничем на часы, или на день-ночь, из оглушающей тишины и вместе с тем из такого кишения крикливых мыслей, что голова голова гудит от них, как набитый битком семярусный театр.

Нечто подобное переживала и Жанна. Правда, она не лежала в кровати, и ей не ставили градусника. Нет, она держалась молодцом. Она подписывала счета мастерской надгробных изделий, она каждое утро оправляла аккуратно постель и пила кофе, она внимательно выслушивала и негодования и соболезнования членов различных миссий. Ведь Жанна не могла лечь лицом к стенке. Она должна была жить.

Но можно ли передать то отъединение, то равнодушие, с которым воспринимала она весь строй этой жизни, от почтительных вздохов членов миссий и до солнца, ветра, моря, попрежнему дежуривших за окнами «Ибрагии». Она жила иной полужизнью, и никто, конечно, об этом не подозревал. В таком существовании был свой распорядок, свои тяжелые заботы. Иногда иллюзорный мир становился настолько реальным, что Жанна Ней, та, что принимала визитеров и подписывала счета, прикладывая ко лбу ладонь, отчетливо думала: я, вероятно, схожу с ума. Но и эта мысль ее не пугала.

Вот в этой жизни Жанна все время удвоилась. То ей казалось, что их две сестры, хотя у Жанны сестер никогда не было. Старшая сестра иногда выглядывала из грязного зеркала в коридоре, мимо которого проходила Жанна, у нее были пустые глаза, как будто из витрины оптического магазина. То она чувствовала, что живет сразу разной: маленькой девочкой, которой за обедом еще подвязывают салфетку и другой, не взрослой, но старой, такой старой, что страшно подумать, старей, чем был он, вот, как бабушка в Луаретте, если громко хлопнуть дверью — может умереть.

Все время были две Жанны. Одна из них жила с папой, не с тем, что лежит где-то в мокром суглинке, с настоящим. Он дома, здесь, рядом. «Доброе утро»! Жанна раскрывала приходившие попржежнему номера «Journal des Débats». Он берег газету. Он готов улыбнуться. Париж! Ведь скоро в Париж!..

А другая?.. Но с кем жила другая Жанна, об этом нельзя даже было подумать: та первая, с папой не вынесла б одной мысли.

Кто написал в желтой книжке, что любовь это счастье? Кто выдумал тот дикий весенний день, когда Жанна шла по Итальянской, доверху полная детского вздора о счастье, о муже? Когда это было? Нет, не когда, но как это могло быть? Теперь Жанна знала: это, как проказа в старых легендах, как озноб и бред несчастных тифозных, метавшихся на перронах Ростова. Это как смерть. И в дом врвался тот, чье имя она не решалась даже про себя повторить. Он был в ужасной форме: френч, но весь красный и с противными голубенькими разводами, как на обоях в кабинете. Он всех колол колуном. (Жанна не знала, что такое колун, ей казалось, что это вроде огромной булавки). В погребке лежит убитый папа. Он похож на маленькую девочку, на ту, что нашли в Ростове. Папа, добренький, старенький папа! Как ему клали грелку, когда у него болела печень! Как он ходил по утрам в нелепом лиловом халате и, читая газету, Жанне отвечал невпопад, потом же сам над собой смеялся: «стар стал, плохо слышу». А вата, а вата в ухе! Милое ухо! Но, нет, ухо пропало. Вообще нет головы. Он проткнул ее колуном. Он снова придет! Она не может его видеть. Никогда! Если только увидит — умрет. А все-таки, что если он придет?.. Тогда... Тогда... Конечно же, пустит!

И вторая Жанна, старшая сестра, старушка, похожая на бабушку в Луаретте, вдруг досадливо рукой отводила первую. Появлялась пронзительная, прямо бабья жалость. Все видала, как он стоит в кабинете, несчастный такой, без воли, без жизни. Бедненький мальчик!

Так жалела, как будто это его убили и после скинули в мокрый суглинок. Что это? Если конец — почему ж и ее не отвезят туда же? Лучше было б убить и Жанну. Или тогда за Карантином, почему она не погибла от круглой бараньей шапки? Зачем он явился? Жанна с ним пробыла не более часа, а казалось, что всю жизнь, даже там, в Луаретте. Жанна, ты смеешь так думать? А папа? Это не он! Он не хотел. Это просто случилось. Один только час! Где-то читала: средняя продолжительность человеческой жизни — тридцать восемь лет. Ужасно много! А час это всего шестьдесят минут, это сосчитать до трех тысяч и конец — десять, одиннадцать, двенадцать... Потом не стало, а без него даже нет дыхания. Жанна действительно задыхалась. Она дышала урывками, с трудом, жадно закусывая воздух, который был все не тем, никак не мог насытить легких. Тогда она напоминала рыбу с мучительно развернутым ртом. Но замечая внешний беспорядок, быстро глотала стакан воды, чтобы снова стать Жанной Ней, годной для счетов и приемов.

Так шли недели. Кажется, происходили какие-то события, но они были вне Жанны. Снова стали заглядывать к ней члены миссий, они сострадательно вздыхали и уговаривали Жанну ехать с ними в Париж. Жанна не спорила, она во всем соглашалась с ними, но всякий раз за день до отбытия парохода заболела. Это не было притворством, но это и не было правдой: у Жанны хватило бы сил совершить любое путешествие. Не болезнь удерживала ее, но она чувствовала, что из Феодосии уехать не может. Одна Жанна твердила: мокрый суглинок, кабинет, то самое кресло, тот самый ковер и бурое пятнышко на нем, как родинка на щеке, — можно-ли это оставить? Другая же ничего не понимала. Она боялась понять, боялась подумать, что не хочет уехать из этого ужасного города только оттого, что в нем, что вокруг него, где то в горах, на окраинах, по Отузам, Насыпкоям, всякий день переодеваясь, меняя не только одежду, но лицо, но душу, то кротким ребенком, то страшным убийцей с колуном, как норд-ост, бродит все та же, не на радость полюбленная тень.

8.

Уши и сердце товарища Захаркевича.

Все чаще стреляли под широкими окнами виллы «Ибрагия». Давно уже перестали являться к Жанне члены различных миссий. Они, наверное, были далеко, в прекрасном Париже. Какая-то жуткая борьба происходила не только в сердце Жанны, но и в темном, голодном, замученном городе. Наконец, настал вечер, когда в комнатах «Ибрагии» сразу погас свет. Было очень тихо. Даже стрелять перестали. Как и в ту ночь, буйствовал норд-ост. По огромной вилле караима Сарума, построенной им для приемов и празднеств, бродила одинокая Жанна Ней. Она была совсем одна: Ваня давно бросил место, а служанка Маша, испугавшись пальбы, со вчерашнего вечера спряталась к сестре в погреб. Жанна слушала ветер. Его было много, много воздуха, но, несмотря на это, она задыхалась.

Среди глубокой ночи раздался стук, громкий и четкий. Этот звук в темноте был ужасен. Сердце Жанны ответило на него диким стуком: он! Значит смерть. Что же, может, мокрый суглинок и легче... Покорно Жанна прошла в сени и открыла дверь. Сразу охватил ее норд-ост. Она ничего не видела. Дверь закрылась. Стало по прежнему тихо, темно. Наконец, выпорхнул маленький перепуганный огонек спички. Человек. Чужой человек. Крохотный тощий еврей, с такими большими, ведущими как бы отдельную жизнь, ушами, что он казался бабочкой, растопырившей свои крылышки. Зачем он здесь? Убить? Замучить?

Молча человек прошел наверх, сел в кресло приемной, приподнял воротник пальтишка, так как в давно не топленном доме стоял мороз, и, наконец, произнес смущенно:

— Я — Захарович. Я здесь останусь.

Жанна не спросила, кто он, зачем пришел? Раз не он — все равно.

Может быть, убить, а может только перерыть весь дом, как это делали много раз чужие люди в папахах. До утра она бродила по темным пустым комнатам. А человек, назвавший себя Захаркевичем, лег на пол, подложил под голову толстейший альбом караима Сарума и немедленно уснул.

Утром он деловито спросил Жанну:

— Где у вас, товарищ, мангалка?

— Мангалка? Что это? Вы хотите денег? Вот, берите.

Махнув рукой, Захаркевич раздобыл где-то щепок и вскипятил воду. Он принес Жанне чашку чая.

— Пейте себе, товарищ.

Жанна смутилась. Впервые нечто постороннее, находящееся вне этого мира, где уже много недель шла тяжба папы с Андреем, как-то заинтересовало ее. Пропустив все бои, уход белых, приход красных, она вдруг остановилась озадаченная, перед непонятным событием: кто этот человек? Зачем он здесь? Он пришел ночью, когда дул жестокий норд-ост, не убил, не рыскал по комнатам, не взял денег, спал на полу, теперь принес Жанне чай — что это значит? Как такое понять? И заметив ее недоумение, Захаркевич, который больше всего на свете, больше Маркса, больше своей доченьки Беллы любил молчание, решил все же заговорить.

— Вы, товарищ, не бойтесь. Я вам ничего не сделаю. Сейчас такое переходное время. Наши регулярные части еще не вошли в город. Дом этот на плохом счету: Сарум известный эксплуататор, потом французская миссия... Могут быть разные эксцессы. Так вот я пока останусь, чтобы вас никто не обидел.

Но слова Захаркевича не успокоили Жанны. Растерянно она глядела на этого нежеланного защитника. Какой-то чужой, совсем чужой человек, с торчащими ушами, который дико зовет ее «товарищем» вдруг явился среди ночи, чтоб охранить и спасти. Нет, этого не может быть. Это бывает только в жолтеньких милых книжках, а Жанна теперь хорошо знает, что книги лгут. Чужая заботливость пришибла ее. Боль усилилась.

— Но почему вы хотите спасти меня? Вы меня не знаете. Кто вам мог сказать обо мне?

— Так случайно слышал. Вы, товарищ, пожалуйста не волнуйтесь. Я только дня три здесь останусь. Я буду спать в той комнате. А вы живите себе, как будто меня нет.

Жанна не расспрашивала его больше. Она даже попыталась улыбнуться, но улыбка вышла гримасой. За то она старательно выпила чай. Весь день она хотела по-

нять эту странную, с неба упавшую нежность и не могла. Вдруг ночью спохватилась: ведь, это же большевик. Значит его прислал он. Эта мысль была в одно и то же время и радостной и темной. Она походила на стук той ночью в дверь. Кинувшись в приемную, где крепко спал странный гость, она растолкала его.

— Послушайте! Вас прислал Андрей?

— Какой Андрей? Я не знаю никакого Андрея.

Это было успокоением, но это было и утерей прекрасной тревоги. Можно снова тихо умирать.

— Его зовут Андреем. Он тоже большевик.

— Ну, товарищ, нас, большевиков, много. Вся Россия большевики, даже половина Европы тоже большевики. А меня к вам никто не присылал, я сам пришел. Спите себе спокойно.

Так Жанна возвратилась в свой мир, снова задышавшись и двоясь. Но что-то в нем переменялось, и странно сказать, причиной этой перемены явился человек со смешными ушами, попрежнему ночевавший в приемной. Он вошел в мир Жанны, вошел тихо, конфузливо, какими-то почти необъяснимыми мелочами. То как он улыбался, протягивая Жанне чашку чая, то как он не стучась, а скорей по-щенячьи царапаясь в дверь ее комнаты, спрашивал утром, хорошо ли она спала, его заплатанный пиджачек, его добренькие подслеповатые глазки, похожие на глаза беременной суки, которые, когда он упоминал о своей Белле, освещались, как окна маленькой лавочки в заметенном снегом переулке, даже уши, ужасные уши — все это, мало-по-малу, начало умилять Жанну. В ее дни вошло что-то простое, человеческое. Она стала отвечать на ласку Захаркевича лаской. Ее уже не пугало, но трогало это нелепое сочетание двух слов: «товарищ Жанна». Три дня давно миновали. Прошло уже более трех недель. Захаркевич теперь с утра уходил в какой-то ревком на работу. Он возвращался поздно, иногда за полночь. Жанна дожидалась его. Жанна, узнавая, что такое мангалка, колола лучины и кипятила ему чай. Тот день, когда Жанна, увидав, как Захаркевич зябнет и подбирает на подобие халата полы пальтишки, улыбаясь взяла иголку и произвела необходимый ремонт, может быть назван днем ее выздоровления. Нет, она ничего не забыла. Но старый Алма-Шулы, грустно певший над углями очага, был прав; молодость сделала то, что только молодость и может сделать — она заставила Жанну, как выздоравливающую, хотя бы изредка, хотя бы виновато, но все же улыбаться. И день за днем Жанна возвращалась к жизни.

Она начала даже помышлять о будущем. Она живет, значит надо жить, значит Париж. Там родные: дядя, кузина, они помогут; там все понятней, легче. Здесь ведь только один Захаркевич, милая ушастая няня. Уедет Захаркевич и Жанне конец. А Андрей?... Но Андрей, это не человек, это только боль. Жанна его не разлюбит, разлюбить нельзя. Другой весенний день, с другим — все это исключено навек. Но об Андрее не нужно думать, достаточно знать: он есть. Думать же нужно о жизни, нужно быть взрослой, папы нет, она ведь теперь одна на всем свете. И Жанна как-то сказала Захаркевичу:

— Я хочу в Париж к родным. Денег на дорогу, я думаю, хватит. Но как добраться?

Захаркевич печально улыбнулся. Он привык к Жанне. Он полюбил ее, как няня выходившая слабого болезненного ребенка. К тому же сердце Захаркевича было устроено так, что оно должно было выделять нежность. Жанна ему заменяла Беллу. Не будь Жанны, пришлось бы заботиться о чем-нибудь другом, например, о том, чтобы секретарь ревкома во время обедал. А секретарь ревкома наверное не понял бы Захаркевича. Теперь Жанна уезжает... Но Захаркевич ничего не сказал Жанне о своей печали. Кого могут интересовать чувства Захаркевича? Надо уметь молчать.

— Что-ж, это можно устроить. Я вам достану паспорт. Кажется, сюда зайдет скоро итальянский пароход. Доедете до Константинополя, а там в Марсель.

Вот уже все сделано. Вот уже паспорт лежит на столыке Жанны. Поздно ночью, с затянувшегося заседания об увеличении посевной площади, явился Захаркевич. Поцарапавшись, вошел он сказать, что пароход отходит послезавтра утром. Потом как всегда прибавил: «спите себе спокойно», но не ушел. Он даже присел на кончик пуфа, чего никогда не делал. Жанна ласково глядела на него. В эти последние дни, он ей начал казаться особенно милым. Даже уши. Ничего в этом нет смешного. Бывают разные уши. У него вот такие. А раз он милый, то и уши милые. Хоть бы он скорее ехал в Москву, к жене, к Белле, а то как же он, бедный, совсем один. Даже пуговицу некому пришить. Захаркевич сидел необычайно печальный. Чтобы как-нибудь утешить его, Жанна сказала:

— Вот вы скоро увидите Беллу.

Но Захаркевич на этот раз не улыбнулся, глаза его не осветились, как окна лавочки.

— Товарищ Жанна, я должен вам сказать про другое. Я не о себе. Вообще я не умею говорить. А это

нужно сказать хорошо. Вот вы уезжаете. Кто знает, может быть, навсегда...

— Вам грустно со мной расстаться?

— Что я? Это никому не интересно. Словом, с вами хочет проститься он.

Может затихнуть норд-ост, но он снова вернется рвать ставни и щемить сердца. Может быть холодно на холмах за Карантином, но покажется снова солнце, Жанна может уехать к дяде в Париж, но любовь, но любовь остается, но когда угодно, днем или ночью, с улыбкой или с колуном, постучи он, Жанна не дыша откроет. Вот уже нет ни парохода, ни пуфа, ни доброго Захаркевича, только Андрей. Жанна увидит его. Как это больно!

Жанна едет в Париж. Жанна должна жить. Пощадите же ее, она столько страдала в темной вилле «Ибрагия». Но любовь не Захаркевич, который, видя муки Жанны, готов сам заплакать, любовь не щадит.

Тогда, в кабинете он не произнес ни слова. В этом была милость судьбы. Говорить с ним Жанна не может. Говорить это — плести, а теперь нужно рубить, как колуном. Ведь послезавтра судьба все разрубит, снимет сходни с парохода, рассечет сердце Жанны, оставит ей ровно столько, сколько надо, чтобы доехать до Парижа. чтобы жить у дяди, работать, ночью иногда плакать в подушку, тихо умереть.

Уедет и не увидит его. Ведь даже осужденным это оказывают... Издали увидеть, увести, держать в сердце, когда завизжит пароход и найти в мокрой подушке дядино дома. Нет, так она не может уехать! Она должна его увидеть.

— Хорошо. Но скажите ему, чтобы он молчал.

Захаркевич знает, что лучше всего молчать. Захаркевич его скажет.

Свидание было назначено не в «Ибрагии», не у Андрея, но за городом, в часе ходьбы от Карантина. «Карантин» — это звучало явным подлогом, желанием перехитрить судьбу. Но Жанна смолчала. Жанна больше ничего не соображала. Для нее страшная встреча уже началась.

Захаркевич сказал «спите себе спокойно», и в первый раз за все время Жанна ничего не ответила ему, кивнула головой, не улыбнулась. Тогда он прибавил:

— Завтра утром я уезжаю в Москву. Что же, прощайте, товарищ Жанна.

И Жанна машинально, коротко ответила:

— Прощайте.

Она просто не заметила его. Она теперь не знала, что существует на свете человек, которого зовут Захаркевичем.

И маленький ушастый человечек, лежа в приемной на диване, не сердился на Жанну. Вполне понятно — Захаркевич хороший партийный работник, но кому нужно сердце Захаркевича? Товарищ Жанна уедет и никогда не вспомнит о нем. Что делать? Так устроена жизнь. Но сердце Захаркевича, никому ненужное сердце не хотело мириться с этими доводами, оно грустно ныло. Оно, и только оно знало, что Захаркевич не няня, что ни на кого, ни на секретаря ревкома, ни на жену, ни на любимицу Беллу он не глядел так нежно, как на эту чужую француженку.

Все это нужно для того, что птицы запели.

Какой лил дождь! Лил без передышки третьи сутки, шумный, драчливый. Все дороги замыло. Собака, от приниженности вовсе теряя хвост, в страхе перебегала улицу: дождь хлестал костистые бока не хуже плетки. Жалкими шариками под навесами хохлились птицы. А старенькой тетке, выплывшей в дальнее плавание за квартой молока, не помог и хваленый зонтик. Дождь перехитрил, пригнулся, изловчился и пошел справа, слева сечь, сквозь салоп, сквозь вязаную под ним кацавейку, ноющие от старости, от сырости кости. Ужасный был дождь! Только земля одна не боялась промокнуть: ей чем больше дождя, тем лучше.

Да, это был дождь, тот, кто «как из ведра», тот, что падает перед настоящей календарной весной, расталкивая ветки можжевельника и корешки молочая. И видно, нужно много, очень много дождя, чтобы пришла весна, чтобы тетка, собирая щавель, отогрела бы свои жалкие кости, чтобы, растопырив перья, могли бы птицы весело запеть!

Среди полуразрушенных домишек греческой деревни Орлут в условленный час Андрей поджидал Жанну. Ждал он долго и настолько пропитался дождем, что перестал походить на человека, который может уйти, сесть у огня, просушить обувь. Людей кругом него не было. Еще прошлой зимой в деревушку заехал карательный отряд. Осетины сожгли дома, разложили на дворах женщин, а мужчин угнали в соседний лесок. Мужчины оттуда больше не вернулись. Женщины же, оплакав свое, ушли в город. Осталась только одна старуха. В тот день и ее, видно с пьяных глаз, не обошел какой-то осетин. Несчастная рехнулась. Встречаясь с человеком, она сперва жалостно вскрикивала, а потом ложилась на землю, раскидывая ноги. Проезжавшие мимо Орлута султанов-

ские крестьяне смертельно боялись этой старухи и, чуть завидя издали ковыляющую тень, стегали своих коняг.

Несмотря на дождь, сумасшедшая бродила по деревне. Увидев Андрея, она, как всегда, припадочно закричала и, непристойно разметавшись, легла на землю. Андрей кинулся прочь. Тогда, покричав еще немного, старуха скрылась за темным пологом дождя.

Страшная старуха! Проклятое место Орлут! Вот он, голый лесокъ, где мокнут под дождем кости двадцати семи человек, мирно сажавших помидоры. Кончилась и эта война. Одни правят своей страной, другие убежали в чужие страны нищенствовать или пьянствовать. А третьи?.. А третьи остались, как орлутские греки, в солончаках Перекопа, в степях, в тундрах, на парадном Марсовом поле, или на поганных пустырях городских окраин. И наверное много раз должны падать предвесение дожди, чтобы среди этих камней покраснели снова, выхоженные человеком, помидоры.

Но не теперь, не поджидая Жанну, думал об этом Андрей. Там, на заседаниях часто обсуждались вопросы трудового фронта или восстановления разоренных хозяйств. Теперь же он думал только о Жанне. Он испуганно вглядывался в дождь, занавесом закрывавший дорогу. Он боялся увидеть что-то передвигающееся под дождем, отделяющееся от его сплошного полога. Он боялся увидеть ту, что с таким нетерпением ждал. Возможно, потеряй она под дождем дорогу, не приди вовсе, он бы обрадовался. А, может быть, тогда, отчаявшись, не переводя дыхания, он побежал бы колотиться головой о чугунные ворота виллы «Ибрагия». Все это зависело от минуты, а Андрей знал только те минуты, которые уже миновали.

Разве он знал, после дикой мазурки целую в коридоре полужужого дома милую пухленькую барышню, что три недели спустя пойдет с ней в приходскую церковь? И венчаясь, разве мог подумать, что скоро от грусти и стыда не сможет взглянуть на эту скаредную, сварливую мещанку? Все поступки Андрея были бурны и внезапны. Сначала происходило извержение эмоций, потом уже, в полубреду, наспех читались книги, придумывались логические объяснения, создавались идеи. Шестнадцать лет, поругавшись с опекуном, он отказался от наследства и отправился сопровождать какую-то слепую старушенку, исполнявшую Вяльцевский репертуар, по московским дворам. Она пела «поцелуем дай забвенье», а он крутил валик. Зачем? Почему? Кто его знает — так вышло... Потом засел рьяно за книги, сдал экзамены. Студент. Мимолетная встреча с Жанной. Казалось — влюблен.

Могло что-то быть. А он, вот, полгода спустя, глупо, пошло женился. Жили с Аглаей (так звали жену) плохо, впроголодь. Родилась дочка, но через семь месяцев умерла. Когда ее выносили, большой, косолапый мужчина плакал, как дитя. С тоски начал пить. Ему казалось, что онъ тоже мертв.

Тогда пришла революция. Сна перетряхнула Андрея, она была его первой подлинной любовью. С мартовских дней он стал большевиком. Другие партии хотели чего-то и это «что-то» было изменчивым, призрачным, как театральная декорация. Большевики же хотели всего, и Андрей пошел за ними. Он был в июле на Литейном проспекте, а в октябре брал Кремль. Потом он сам напросился на фронт в Кубань. Попался в какой-то станице белым. Заперли в сарай. Спасся. Спасся так необычайно, что после этого сам уверовал в свою счастливую звезду. Пробрался в Крым — подрывать Врангеля. Теперь же, когда все фронты пропали, когда предстояло отстраивать Орлуты, когда пошли на заседаниях одни цифры, Андрей смутился. Он стал подумывать: куда бы теперь? В Бессарабию? На запад? Все равно, но куда-нибудь в подполье, только бы где поопасней, — организовывать боевые сотни, писать прокламации, бороться, стрелять, гибнуть. Товарищи глядели на него с любованием: смел, предан делу, но и с опаской: чужой. Захаревич раз ему сказал мягко: «вы, товарищ, в какой-то части не совсем марксист». Вероятно, товарищи были правы. Такие люди, как винтовки, или как флаги. Нельзя же вечно стрелять, всякое полотно от дождей и от солнца линяет. В Москве еще только обмозговывали декрет о замене разверстки налогом, а в тысячах верст от Кремля Андрей уже чувствовал себя не на месте.

Таков был человек, которого полюбил Жанна. Напрасно она вздумала бы ждать от него ясности чувства, или последовательности поступков. Андрей сам не знал, на что он способен. Может ли он по настоящему любить? Ведь нельзя же назвать любовью то, что случилось с Аглаей: просто человека, не успевшего очухаться от полудетских поцелуев, взяли и женили. Все, что произошло с Жанной, было и для него невинным. Началось с Карантина, то есть, с молодости, с солнца. Когда ночью, в два Никита застал его у водокачки, Андрей улыбался. Под окнами «Ибрагима» он наспех, ласково подумал: сейчас она, верно, спит... Ему казалось, что он влюблен в Жанну и это было легким, веселым, приятным. Он вышел на набережную без памяти. Значит все переменялось в несколько минут. Андрей узнал горе. Он повсюду видел глаза Жанны. Тишина теперь наполнилась тихим вскриком: «бегите же». Это не было раскаянием. Андрей

не мог поступить иначе, он должен был выстрелить. Если бумага оказалась вздорной, он не виноват, он этого не знал. Но Жанна?.. Что же произошло в ту минуту, когда он увидел в дверях кабинета Жанну? Может быть, теряя ее, Андрей понял, что день за Карантином означал не только весну, понял, что казавшееся ему веселой влюбленностью, на самом деле было любовью.

В его жизнь вошло горе. Он работал. Он дождался, наконец, прорыва красных. Он дождался победы. Много недель неспавший под кровом, рыскавший по горам с крохотным отрядом головорезов, помешавший эвакуации целого корпуса, он заслужил победу. Но горе, среди великих исторических дел, маленькое человеческое горе от этого не затихало.

Андрей хорошо понимал, что счастья не может быть. Вероятно, поэтому он и выбрал Захаркевича, больше всего на свете любившего молчание. Каждый день, в перерывах заседаний, стараясь деловитостью прикрыть волнение, он спрашивал у тихого ушастого человека «ну, как там?» И каждый раз Захаркевич неизменно отвечал «ничего себе». Так подошел день, когда Захаркевич к традиционной фразе, немного помолчав, прибавил «она хочет ехать в Париж». Заседание продолжалось. Андрей пытался слушать отчеты: цифры, слова.

Страдание не шло к этому большому, здоровому, прежде неизменно веселому человеку, как может не идти к лицу какой-нибудь цвет. Но страдание для него теперь являлось таким же фактом, как вот эти цифры разрушенных хозяйств уезда. Удержать ее? Чтобы мучилась? Нет пусть едет. Андрей ведь научился крутить валик шарманки, жить с нелюбимой женой, глядеть, как выносят крохотный гробик, убиват людей и самому ждать смерти в казацком сарае, что же, теперь он научится в одиночку, до одури, до смерти любить.

Оставалось проститься. Под долгим дождем Андрей ждал Жанну. Уже поздно, она не придет. Андрей перестал глядеть на часы. Он больше ни о чем не думал. Он окончательно слился с дождем. Его вывела из этого состояния человеческая рука, мокрая от дождя, слабая, почти лишенная жизни, похожая на обломанную ветку можжевельника. Это была рука Жанны. И Андрей в ответ захотел улыбнуться — он, ведь, так хорошо умел это делать раньше. Однако улыбка ему не удалась. Оба молчали. За обоих говорил тяжелый, как их судьба, дождь.

Жанну, пережившую целую темную жизнь в пустой вилле «Ибрагия», привыкшую с глазу на глаз сумерничать с мукой, это молчание не поразило, оно яв-

лялось как бы прямым продолжением ее дней. Но Андрей все это время жил: он скакал верхом, командовал, стрелял, спорил на заседаниях. Его горе таким образом расплывалось в ворохе слов, в самом тембре делового голоса. Теперь оно впервые встало перед Андреем во всей своей безъязычной дикой полноте. От этого ломило голову. Ему померещилась ночь в станице. Как тогда, он подумал по книжному: **надо сжать зубы**. Андрей хорошо помнил слова, переданные Захаркевичем, он скорее, умер бы, но не заговорил.

А Жанна теперь ничего не понимала. Она только видела переместившиеся от боли губы Андрея. Она все отдадала бы, лишь бы они улыбнулись. Они так хорошо улыбались. Они не могут не улыбнуться. Они должны улыбаться. И Жанна сказала:

— Андрей, говорите.

Плотину сняли. Хлынули бессмысленно, где-то вглуби застоявшиеся слова. Откуда они взялись? Сколько лет они барахтались в сердце, чтобы теперь сразу пролиться сплошным темным дождем? О чем Андрей говорил Жанне? О своей вине? Или тогда о любви? Нет. Его слова являлись бредом. Только Жанна, узнавшая, как может двоиться жизнь, хотя бы в пыльных зеркалах виллы «Ибрагия», сумела в них разобраться. Сначала было о дожде. Этот дождь и другой. Другой дождь шел летом. Следовательно Андрей, нет, тогда только мальчик, Андрюша, жил на даче, кажется, в Быкове. Щеглята. Ведь это птицы. Такая порода. В лесу много птиц. Андрюша поймал щегленка. Кстати: странно устроена человеческая рука — ее никак нельзя проверить. У него были мягонькие перышки. Такие, вероятно, у Жанны волосы на ощупь. Так-вот, одним словом, нет, вы только послушайте, среди бела дня на даче в Быкове — задохся. Ведь это же горе. И главное, нельзя помочь, ни мама, ни Бог, никто, так таки никто, не может помочь. Но при чем тут дождь? О чем он говорил? Пусть Жанна простит: он пугается, он не то хотел сказать, он несет вздор...

Жанна поняла все. Жанна знала, что это не вздор. Она вся светилась от напряжения и нежности. Когда Андрей умолк, с величайшим усилием приподняла она свою, какбы отмершую, руку и провела ею по голове Андрея. Тогда — и это было совсем необычайным, это было еще нелепей, чем появление щегла — никто ведь не стрелял, а дождь, как известно, не убивает, — Андрей, пронзенный всей теплотой опустившейся на мокрые волосы руки, свалился, свалился, как господин Ней в ту ночь, свалился на затопленную дождем землю. Он при-

жался к подолу платья Жанны, пахнувшему мокрой шерстью, в страхе только б она не ушла, он целовал его.

— Я так... я так... люблю...

Ах, как быстро, как дико горит итальянский пароход! Здесь же счастья не будет. Значит — смерть. Жанна, взрослая, рассудительная Жанна, которая должна завтра утром уехать к дяде на жизнь без любви, эта Жанна больше ничего не понимает. Но Жанна видит, что Андрею больно и, ласково приподняв его, она говорит:

— Если вы хотите, я останусь.

Почему Андрей не крикнул: «да, останься»? Ведь кричало же так его сердце, так стучало в висках, пальцы хрустели именно так. Почему только губы ничего не сказали? Потом Андрей себя мучил вот этим: ну, как не удержал? Но в ту минуту он не мог ответить иначе. В зените любви бывает такая освещенность, такая полнота, что нет и мысли о счастье. Легко и просто тогда человек говорит: я слишком мало тебя люблю (а сам: только ты), я тебя недостойн (живу тобой), пройди мимо (останься, не то смерть). Было для Андрея блаженством лежать на мокрой земле у ног Жанны и знать, что уйдет пароход, увезет ее к прекрасным приторным розам, к солнцу, к другому лучшему Андрею, который будет зваться «Жаном», или «Пьером», к жизни легкой, как качание в гамаке, а он, а он будет ночью скакать по пустынным холмам, слушать дождь, где-нибудь может быть, в Бессарабии, один, в стороне, с ноганом, с любовью.

Андрей понимал, что ночь в кабинете «Ибрагима» еще длится, что она будет длиться во век. Жанну он только задушит. Пусть же едет, но пусть едет скорей: ведь Андрей взбалмошный, нелепый человек. Надолго ли его хватит?

А Жанна, зная так хорошо, на зубок, что такое любовь, Жанна, вся преисполненная готовности и ласки, эта Жанна поверила губам Андрея. Не надо сердиться на Жанну. Может быть, виноват был дождь: свинцовым листом он прикрыл глаза Андрея, тупым стуком заглушил мышинное метание его сердца. Не надо на нее сердиться: Жанна была еще ребенком. Она поверила губам Андрея. Она решила, что Андрей боится ее, что для него она тень у дверей кабинета, почти привидение. Он молод, он весел, жив. Что ж ему делать с глупой и грустной девченкой? Он любит революцию. Он думает, что Жанна свяжет его. Может быть, он и прав: ведь Жанна не умеет даже ездить верхом. Андрей — герой. Он должен быть один. Жанна уедет. Пароход может грузиться. Завтра снимут сходни.

— Андрей, ведь это совсем, навсегда?

Нет, Андрей не может слышать таких слов. Такие слова просто безчеловечны.

Тряхнув мокрой головой, он возмущенно отвечает:

— Нет, Жанна, нет. Мы должны увидеться.

(Почему пароход не ушел сразу? Андрей начинает сдаваться).

— Мы обязательно увидимся. Может быть, я приеду туда.

— Куда?

— Не знаю. На Запад... В Париж.

Жанна вздрагивает: Париж, папин Париж вдруг меняется. В нем, кроме дядино дома, кроме конторы, кроме подушки оказывается Андрей. Жанна не радуется. Но, кажется, она теряет голову. А ведь она так хотела быть рассудительной.

— Зачем, Андрей?

Сейчас, наконец, он скажет: «без тебя не могу». Тогда она сможет остаться. Ведь время есть, пароход еще не ушел. Но Андрей снова тверд.

— Работать. Готовить революцию. Как здесь.

Это звучит так ново, так нелепо, что Жанна тихо вскрикивает. Париж и революция — разве это может быть вместе? Это как, если бы папа ходил вместо котелка в папачке. Этого не может быть. Но раз Андрей говорит, значит это будет. С трогательным недоумением она спрашивает:

— Значит там будет все, как здесь?

И Жанна показывает на развалины домов, за которыми покривается сумасшедшая старуха.

— Как здесь? И это нужно, Андрей?

— Да, Жанна. Да, это нужно.

Жанна верит ему. Ведь были же ей нужны огромные ночи в вилле «Ибрагия». В голове Жанны развалины Орлута, ростовские тифозные, вся страшная Россия этих лет сливается с ее собственной судьбой, с любовью к Андрею.

— Я тоже завтра еду (при этом Андрей подумал: лучше ехать сегодня, сейчас же, а то не стерплю). Я еду в Москву, там жена, Аглая. Вы ведь ее, кажется, знаете?

Андрей сказал это просто, по житейски, только инстинктивно вернувшись к «вы». Для него Аглая, ведь, давно стала частицей быта, как календарь, или как имя-отчество. Но для Жанны эти несколько слов были вторым выстрелом. Глупая, она могла думать: мужем. Он любит другую. Но почему же он так улыбался тогда за Карантином? Почему так потерянно глядел, когда

она вошла в кабинет? Но что же — Жанна ему не судья. Он любит Аглаю. Значит он не один. Ну, конечно же, не один. Ведь Андрей не бедный Захаркевич. Жанна рада: теперь она сможет спокойно уехать, не оглядываясь с палубы на охровые холмы Феодосии.

И тихо Жанна ответила ему, что немного знала Аглаю, только не знала, что Андрей на ней женат. Нет, этого она не знала. Голос Жанны сквозь дождь звучал глухо, отдаленно. Андрей почувствовал, что она, еще стоя здесь, рядом с ним, уже шаг за шагом сходит вниз, в город, в порт, туда, где пароход. Его недавняя стойкость теперь сменилась отчаяньем, почти бешенством. Он схватил руки Жанны и стал зло, безысходно целовать их. Руки не уходили, но и не отвечали, в них не чувствовалось жизни. Тогда, сам себя презирая за слабость, может быть, ненавидя и Жанну за всю любовь, он хрипло, глотая звуки, давясь ими, пробормотал:

— Слышишь? Не уезжай.

— Нет. Я завтра еду.

Жанна сказала это спокойно и ровно, как на улице, задетая первым прохожим. Но хорошо, что идет дождь, что текут струйки с маленькой шапочки Жанны: она может плакать, много плакать, Андрей не заметит этого. Она не останется. Довольно бурого пятнышка на ковре в кабинете. Конечно, она только простенькая девушка из Луаретта, которая мечтала о женихе, о счастье, но Аглаи она не уйдет.

Жанна забирает кротко свои зацелованные руки, складывает их на груди, как в старых романах девушки, уходившие в монастырь. Да разве комнатка в дядином доме ей не будет такой же кельей? Скорей же грузисы пароход. Еще усилие — дать руку. Жанна сильна. Жанна уходит.

Но все же катастрофа произошла. Произошла она тихо, в темноте, под дождем. Значения ее в ту минуту не поняли ни Жанна, ни Андрей. Это было капитуляцией перед любовью, но капитуляцией скрытой, робкой, полной уловок. Жанна уже прошла мимо старого колюща, она уже начала спускаться вниз, где ждал ее итальянский пароход, когда вдруг сердце не выдержало, взмолилось: ну, не теперь, так через год, когда-нибудь, когда все переменится... И с этой мыслью Жанна быстро побежала назад. Молча протянула она, все еще стоявшему на том же месте, Андрею крохотную карточку.

— Что это?

— Адрес. Если ты... если вы...

Андрей ей не ответил. Скорбно и бережно поцеловал он ее слегка приоткрытый рот. Это было прощанием.

Оставшись один, он прочел: «Контора частного розыска Раймонда Ней. Улица Тибумэри, 17», и машинально вздрогнув, усталый, разбитый, едва-едва смог наладить единственную, самую прочную мысль: нужно ехать сегодня, сейчас же, до парохода.

А Жанна сбегая натолкнулась на сумасшедшую. Старуха валялась в глиняной жиже и жалостно покрикивала. Жанне она показалась галлюцинацией, ее же выдумкой, последним этапом встречи с Андреем. Бежать, скорее бежать...

В темноте, по пустой дороге, под сердитым дождем бежит Жанна. Где-то уж надрываясь кричит пароход. Завтра, рано утром Жанна уедет на безлюбую, скучную жизнь. Жанна бежит и плачет. Бедная, бедная Жанна!

О той самой капле.

Аглая подумала: это последняя капля, та самая капля, которая, как известно, переполняет чашу.

Париж — он едет в Париж! Говорят, что еще существует такой город! Там живет сестра Аглаи, счастливая Ася, там нет ни тухлой конины, ни дыма печурок, ни революции. Что же это возможно: ведь поют в церкви о рае, где только воздух и блаженство. Аглая не в раю, Аглая и не в Париже, Аглая на корточках раздувает печку. Из глаз текут слезы от дыма: ветер мешает Аглае, он дует прямо в трубу. Из глаз текут слезы от горя: Андрей только что приехал и вот опять уезжает.

Так всю жизнь! Когда Аглая еще гимназисткой жила с мамой в нищей квартирке дорогомилловского домика, она часто по вечерам слушала музыку, доходившую из соседнего дома, там жил фабрикант Гай. Это были безусловно званые вечера, с танцами, с пети-фурами от Сиу, со всеми танцами, которые Аглая знала только по названиям: «падурс», «падешинуа», «миньон», и даже, но это уже под утро, когда глаза мамаш становились оловянными, непринужденный кэк-вок. Аглаю на эти вечера не звали. Там объяснялись в любви и рисовали в изящных карнэ вензеля. Так, по крайней мере, уверяли ее подруги. Слушая музыку, Аглая плакала и не то ластилась к маме, не то ругала ее, прищипывая:

— Ну, зачем ты меня родила, ведьмуля?

Это не было еще горем: Аглая верила, что выйдет замуж и тогда получит все: от объяснения в любви до целого пуда пети-фур.

Замуж она действительно скоро вышла, и если Андрей довольно косноязычно говорил ей о своих чувствах, целовал он ее хорошо. Но когда кончились первые поцелуи, Аглая осмотревшись увидела, что жизнь ее стала еще грустней. Музыка попрежнему звучала не в

ее комнате, а надеяться больше было не на что. Андрей старался быть ласковым, но вдруг прорывался: то кидал обидное слово, то в отчаянии хватался за голову. Аглая чуяла, что он ее не любит, но она считала это противоестественным, даже преступным. Если он муж, то должен любить! Так говорили не своды законов, а ее сердце. Чужого не хочу, своего не отдам! Муж — мой!

Может быть, капель в чаше было уж много, но никто ведь не знает вместимости этой, всеми так часто понимаемой чаши. Во всяком случае тогда она была далеко не полной.

Померещилось даже настоящее человеческое счастье: дочка, Саша. Аглая перестала кланяться у Андрея ласки. Аглая забыла звуки «падурса». Часы кормления, вес младенца, крохотная ванна — сделались для нее жизнью. Когда же она совсем разучилась вспоминать о своей судьбе, когда даже читая романы Слезкины или рассматривая в «Ниве» виды Палермо, она стала думать: вот Сашенька это прочтет, а это увидит, словом, когда закончился процесс перерождения кокетливой барышни в хлопотливую, пеленочную, микстурочную маменьку, тогда Саша умерла от воспаления мозга.

Прошло много месяцев, прежде чем острое горе стало тихим, ноющим. Но все же настал вечер, когда снова послышалась музыка за окном и где-то под ложечкой зашевелилась мучительная, как зуд, жажда человеческой нежности. Аглая метнулась к Андрею. Но перед ней оказался чужой, вежливый, успевший набраться иной, не домашней жизни, человек. Здесь не могли помочь ни заботливость Аглаи, починившей и переметившей все его рубахи, ни купленная за много дней без масла к чаю, огромная фиолетовая шляпа с целым на ней плодовым садом. Аглая плакала, но в уголочке, тщательно засыпая слезы цветочной пудрой: она ведь знала по романам, взятым из соседней библиотеки, что мужчины не любят заплаканных щек. Она испробовала и все другие уловки этих якобы мудрых книг. Как то изумленный Андрей услышал, что Аглае очень нравится сосед, рыжеусый чиновник казенной палаты, что Аглая позвала его в гости, что больше того, она и сама может пойти к этим рыжим усам, хотя бы пить чай. Но, как видно, издания «Шиповника» умели лгать не хуже французских книжек в желтых обложках: Андрей только пожал плечами — у каждого свой вкус.

Ненасытная чаша требовала новых капель. Пришла революция, сначала почти незаметная: ну, давка на улицах или глупые песни; потом страшная, с прятаньем в погребах, с ночными обысками, с очередями; наю-

нец, и вовсе невыносимая, заставлявшая спускать на Смоленском последнюю простынку, вместо котлеток жевать осьмушку глины, ходить на «повинность», то-есть, попросту сгребать снег, как это делали прежде одни только дворничихи, прятать в солдатских валенках отмерзшие, распухшие ноги и плакать, плакать от дыма, плакать от горе, плакать от всего. Разве можно передать, как Аглая, бескорыстно преданная светскому счастью и звукам шаконов, в горе знавшая только одно утешение — вощенные лики икон, как эта Аглая возненавидела революцию? Когда красноармеец, водивший партию на работу, говорил ей «товарищ», она испытывала физическую тошноту. Она пошла бы на все пытки древних христиан, только бы он, этот косолапый туляк, взятый недавно по набору, в ее же представлении палач сдох бы, а с ним и вся революция!

И, может быть, потому, что она так ненавидела эту живучую революцию, ей было дано двойное испытание: после первых же бесчинств Андрей оказался с большевиками. Да, он был с теми, что, реквизировав пианино фабриканта Гая, раз навсегда оборвали все шаконы, с теми, что потрошили святые мощи, с теми, что заставляли **дикими** ночами **девятнадцатого** года реветь в подушки, чтобы никто не подслушал, тысячи Аглай. Это было для нее непостижимым. Аглая знала, что муж ее честный человек, знала также, что он православный. Тогда ей пришла в голову жалкая бабская догадка: влюбился, спутался с какой-нибудь большевичкой, может быть, с жидовкой. Напрасно Андрей пытался ей объяснить: справедливость, идеи, новое в мире. Аглае казалось, что он, для отвода глаз, читает на память газету. Ради справедливости люди не рискуют жизнью. Мужики шли грабить усадьбы. Жидов раньше гнали в шею, а теперь каждый жидюга и царь и Бог. Все это понятно. Но Андрей? Зачем Андрею понадобилась революция? А Андрей влюбился! Влюбился опрометью, дико, как когда-то после одной мазурки влюбился в Аглаю. Если б она только могла разыскать эту гадкую женщину, схватить ее за волосы, исцарапать, задушить! Но Аглая даже не знала имени разлучницы. Хуже того: исчез и Андрей, уехал грабить Ростов, верно с ней, с подружкой.

В темной конурке, глодая ржавую селедку, по целым неделям от холода не **моясь**, ждала Аглая Андрея. Кто сказал, что она была пухленькой барышней, что она когда-то танцевала мазурку? На нее взглянуть было страшно: костлявая вся, как эта обглоданная селедка, с селедочными мутными глазами, с лицом, как-будто **изъеденным** ржавчиной, она еле двигалась. Пройдет два

шага, закашляется и долго мучительно трясется, пока не выплюнет сгусток кровавой мокроты. В трудовой книжке значилось Аглае двадцать четыре года, а на вид было под сорок. От дыма обильно текли слезы. Чаша все вмещала.

Что еще держало в жизни? Ведь не селедки же! Странно приложить слово, которое так хорошо подходит к мечтательным девушкам, которое вполне уместно в сентиментальных стихах, к злой, чахоточной женщине из квартиры тридцать четвертой, с кашлем, похожим на лай, пугавшим всех дворовых мальчишек, странно приложить к такой не ведьмале, но истинной ведьме нежнейшее слово «любовь». Однако это сущая правда: Аглая любила Андрея, любила его преданно, сильно, и только эта любовь помогала ей вынести все. Аглая верила: он увидит, что шлюха всегда остается шлюхой, тогда он вернется к жене. Аглая не может умереть! Она должна отобрать у воровки похищенное добро.

Аглая ходила в церковь, молилась, слушала глухие толки бабок и глаза ее начинали блестеть. Вместе с бабками она ожидала чудес, вместе с ними верила, что чудес много: то появлялась в кладовке дивная икона, то сама собой зажигалась лампадка, то внезапно, от неведомых никому язв, подышал коммунист, поругатель мощей. Глаза Аглаи блестели, потому что после всех этих чудес, она ждала одного главного чуда: кончится треклятая революция, умрет Троцкий, жидовку за все ее штучки посадят в острог, а Андрей, сконфуженный, нежный запросится назад к жене. Аглая — христианка, она его простит!

И вот чудо как-будто начало сбываться. Правда, Троцкий не умер, но что Аглае Троцкий? К ней вернулся Андрей! Снял шапку. Все тот же, прежний, даже ласково улыбнулся. Как радовалась Аглая! Но не успела вдоволь нарадоваться, как он уж сказал ей, что снова уезжает, куда-то далеко, на Запад, в Париж. Аглая спростила:

— Что же ты жену здесь бросить хочешь? Меня-то не возьмешь?

Но Андрей ответил, что едет в подполье, на опасную работу, может быть, на смерть. Аглая знает эти басни: он едет с нею кутить! Нет, это, кажется, последняя капля!...

— Хорош муж! Ты только на меня посмотри! Что со мной стало. Уж если ты большевик, такое несчастье случилось, устройся хоть хорошо. Устроились же другие, кремлевский паек получают. Вот Настя говорила, что Рики, это коммунисты из четырнадцатого номера, так

они каждый день икру жрут. И куда тебя несет? Уж кончили воевать. Сиди здесь!

— Аглая, я тебя устрою. Ты тоже будешь получать паек.

— На чорта он мне, твой паек! Что я без тебя делать буду? Ты с ней по шантанам, а я здесь паек, большевицкую милостыньку, фунтик ржаного! Так, что ли? Так ты, Андрей, мне насчет справедливости не говори! Нет в этом никакой справедливости. Шлюхе-то все, ее в Париж, ее к сердцу прижать. А мне что? Жене? Что у тебя Сашенька от большевички, что ли, была? Воровка она! Жизнь мою украла! Чтоб ей...

— Аглая, успокойся ты! Я один еду. Пойми же, я должен ехать. Я не могу здесь остаться.

— Не можешь, а я могу? Дров нет, вчера взяла у Насти четыре полена, а отдать нечем. Ты на ноги мои лучше погляди! Хлеба пятый день не выдают. Мукашибовская кончилась вся. Я вот чай только по праздникам пью. Сил моих нет! Палец занозила — гноится. Ходить трудно. До сортира дойти не могу. Сволочи обманули, за пуховую подушку дали три фунта, да и то тухлые!..

И вдруг голос Аглаи переменялся, он стал тихим, нежным. Кажется, это был голос пухленькой девушки, танцовавшей когда-то мазурку.

— Андрей, я все не о том... Я ведь для тебя это... Как я ждала тебя! А ты и взглянуть на меня не хочешь. Я ведь понимаю, какой я рожей стала... Вот сегодня у Насти взглянула в зеркало, так ноги отнялись. Ты только одно пойми: люблю я тебя! Она может и красивой, молоденькая, окрутила тебя, но сердца в ней нет, безжалостная она. Брось ты ее! Оставайся здесь! Ведь я же жена тебе. Это от Бога, это никаким декретом не вырежешь. Я за тобой ходить как буду! Я к доктору пойду, поправлюсь, заживем по-хорошему... Я вот причешусь — все таки не такое пугало... Еще после Сашеньки... волосы лезут...

Аглая разрыдалась. Как сумасшедший, метался Андрей по комнате. Это была пытка, пытка жалостью. Он то целовал закорузлые руки Аглаи, готовый на век остаться здесь, предать свое дело, забыть все, лишь бы утешить эту чужую несчастную женщину, знавшую одно только слово, но слово страшное, как заклинание: «Сашенька», то он бросался к окну, в которое видна была Москва, большая, как мир, тоже несчастная, но героическая Москва того года. Она как бы поджидала Андрея для новых боев. Это длилось долго и слезы Аглаи и метания Андрея. Уже давно стемнело. Они больше не видели друг друга. Пропала Москва. Как будто пропали

и годы. Андрею почудилось, что вот в этой комнате, на столе стоит маленький гробик. Он останется! Он погубит себя, но он не может уйти! Он уже погублен жалостью. И с дикой решимостью, преодолевая не только свое горе, но и брезгливость, он покорно поцеловал сухую запавшую щеку Аглаи. Вздвогнув от неожиданности, Аглая злобно закричала:

— А кого еще целовал? Ты скажи мне как зовут ее, шлюху эту?

Андрей отскочил. Он привык к подобным вопросам. Обычно они вызывали в нем только гадливое недоумение. Но сейчас с ним произошло нечто странное: он просто сам себе ответил на вопрос Аглаи кто она? — да, конечно, Жанна! И милый облик сейчас же встал перед ним. Среди развалин Орлута, под проливным дождем — смутный выпуклый лоб, приоткрытый чуть рот, долгий печальный поцелуй. Он почувствовал на груди там, где сердце, теплоту, как будто его коснулась рука Жанны. Что это? Ах, да, карточка, адрес!..

Сердце, не нужно притворяться: ведь, кроме боев и мира, еще существует «семнадцать, улица Тибумэри»!

Аглая продолжала, захлебываясь от кашля, ругаться. Чуть оттаяв после ласки Андрея, она теперь как бы хотела очиститься от всех долготлетних обид. Но Андрей ее больше не слушал. Он даже радовался ее злобе. Вместо недавней жалости, в нем теперь была только отчужденность. Он ее не любит. Он в этом не виноват. Он устроит, чтобы ей жилось легче. Например, паек. Он готов для нее сделать все, все, кроме одного. Правда, только это одно и нужно Аглае. Но что делать: любовь не паек, ее нельзя распределить по карточкам.

Час спустя лай отсыревшей двери подтвердил: Андрей ушел, Андрей не понял ее любви, Андрей вместо с разлучницей сбежал в Париж. Аглая бросилась в угол к иконам. Но чуда не было. Может быть, где-нибудь и зажигались таинственные лампадки, может быть, какой-нибудь чекист и умер от необъяснимых язв, но чуда, настоящего, большого чуда, того, что нужно было Аглае, не было. Бог ее обманул, как обманула мама, родив на свет бесприданницей, как обманули мотивы шакона и поцелуй после мазурки. Аглая плакала. Аглая надрывалась от кашля. Аглая зубастой, как рыбы кости, рукой грозила всем. Она всех задушит: и любовницу Андрея, и Москву за окном, и Бога, и Бога, который может помочь, но не хочет, всех! А потом, не выдержав, упала на морозный пол, обросший золой и грязью.

Была ли эта капля последней? И бывает ли она, последняя капля? Или пока живет человек, растет горе, растет чаша, а жалость?.. — а жалости нет.

Где именно водятся ангелы.

Ах, если бы Аглая увидела этот Париж, она бы, наверное немного утешилась! Ведь вместо голубого воздуха здесь висела грязная вата дыма, густо пропитанная бобовым маслом и человеческими испражнениями. Нет, этот Париж совсем не походил на рай! Сестра Аглаи вероятно и в глаза не видала таких улиц, и понятно: кому могут понадобиться эти зловонные дома, покрытые подозрительной испариной? Да полно. Париж ли это?

Если задать подобный вопрос сомнительному субъекту в засаленном фраке, вышедшему подышать свежим воздухом, то-есть, дымом, маслом и мочей, субъект выпятит обиженно нижнюю скользкую губу, с бурым, прилипшим к ней окурком самодельной папиросы и прогнусавит: «да, сударь, да, это Париж. Не хотите ли, кстати, завести некоторые знакомства?» Малообщительным людям лучше субъектов на улице не останавливать.

Итак, это Париж, а именно одиннадцатый полицейский округ. Сестра Аглаи никогда сюда не доедет, да ей такое и в голову не придет. Но вот этот шикарный иностранец, в модном костюме, придающем ему и бюст Киприды и множество прочих, повышающих ценность человека придатков, как же он здесь очутился? Может быть, это любитель приключений или любознательный турист? Ведь в окрестностях немало курьезов. На улице Морильон, например, находятся превосходные бойни, а вокруг них свыше сотни лавченков, торгующих распивочно вином. Туда захотят мясистые скототорговцы, в фартуках залитых бычьей кровью, захлебываются кровавым вином, и, багровея, цветом щек затмевают свои фартуки. Если повернуть налево, недалеко и до кладбища. Опять таки кабачки. Могильщики, или как зовут их здесь, «грызуны мертвецов» мирно грызут китайские орешки, нюхают мятный табак, а досы-

та начихавшись, чокаются с пустыми бутылками: друзей нет, такова уж профессия. В других кабаках, в тех, что попристойней, справляют поминки, выхлестывая белое литровое вино и закусывая сыром, пахнущим ничуть не хуже солдатских ног. Это сопровождается также сморканием от наплыва различных чувств и тщательным сдуванием кладбищенской пыли со взятых на прокат цилиндров. На бульваре Пастер в пять утра сходятся мусорщицы, порой не поделив разбитой тарелки, а то и просто дохлятины, они дерут друг дружку за потные волосы, полные гнид, потом же снова бегут разрывать помойные кадки. На улице Фальгьер, номер тридцать восемь — веселый дом с хорошенькими мальчиками. В темноте туда наезжают снобы, аккуратно раздеваются и кладут брюки под пресс, чтобы за ночь не сгладилась складка; мальчики же, желая выказать исправность, до утра томно визжат. Как раз напротив — полицейский пост. Здесь по ночам совершается иное действие, именуемое «табачным». Усатые молодчаги, в эlegantных кепи, поймав коммуниста или просто жулика и забив рот тряпьем, лупят его железной палкой сквозь мокрое полотенце. Изобретение это гениальное, и патент на него, вероятно, заявлен: в итоге не остается никаких следов увечий, смерть же наступает от невыясненных причин.

Еще здесь немало ростовщиков, старьевщиков, в витринах которых можно заметить рядом с портретом императрицы Евгении старую клизму, ветеринаров, настройщиков роялей, проституток, охотников за котами, ради мяса, дающего, как известно, превосходное кроличье рагу и ради шкур, помогающих старухам при суставном ревматизме, недипломированных провизоров, которые лечат гоноррею, апашей, блох. Все это выполняется на улицы, здесь же обделяет свои делишки, лопает кипящую на жаровнях картошку, пьет дрянное вино, разглаживает помятые сальные франки, мимоходом щупает расставленных через каждые пять шагов, как тумбы, дежурных девиц, здесь же мочится, здесь же поет чувствительные до слез романсы, словом, разнообразно и бодро живет. Таков Париж, то-есть, та часть Парижа, которую, наверное, гиды Кука не показывают щепетильным миссис и мисс.

Вот по этому Парижу, в туманное ноябрьское утро шел шикарный иностранец, шел смело, не боясь ни заблудиться, ни наступить ногой на нечто вовсе нехорошее. Куда же он направлялся? Он не свернул налево: значит, он не собирался заказать своей покойной матушке надгробный камень. Он пренебрег и бойнями. Выйдя на маленькую улицу, он стал вглядываться в

туман, выискивая на воротах, черных, гнилых и злобонных, как рты старушенок, дощечки с нумерацией. Это указывало, что иностранца привело сюда не одно праздное любопытство. Ничего в этом нет удивительного: ведь, помещаются же в таких домах вполне солидные фирмы, привязанные к старым местам традициями и презирующие модные бульвары. Вот он сейчас остановится возле дома номер восемь и пойдет к представителю фабрики дижонской горчицы! Может же ему понадобиться целая партия горчицы! Но, нет, он прошел мимо. Тогда номер десять, контора по перепродаже плодовых садов? Абрикосы очень сочные и вкусные фрукты, кроме того, они приносят доходы. Нет, иностранец решительно перешел на другую сторону.

Сделав еще несколько шагов, он остановился перед большими воротами и отважно прошел внутрь. Но в совершенно темном дворе, куда он попал, бодрое настроение духа впервые его оставило. Он невольно поднес руку в новенькой замшевой перчатке к оскорбленному носу. Вследствие темноты для него так и осталось невыясненным, что именно происходило в доме: экстренный ремонт некоторых труб или изготовление всемирно прославленного камембера. Отчаявшись, толкнулся он в какую-то дверь. На ступеньке сидела старуха и одним пальцем, острым и длинным, как булава, потрошила окуня. Поскользнувшись о рыбы внутренности, иностранец зашатался, однако не упал и не повернул назад. Твердо решив преодолеть все препятствия, он стал подыматься по узенькой винтовой лестнице и, наконец, достиг цели.

Ему открыл дверь плюгавенький человек с провалившимся носом, под руинами которого мирно процветали превосходные рыженькие усики.

— Могу ли я видеть господина Ней? — чрезмерно вежливо спросил иностранец, не заметив ни общей плюгавости человека, ни дефектов его лица.

Провалившийся нос повел иностранца по закоулочкам, которые вряд ли могли быть названы комнатами. Они были все неправильной формы, то треугольные, без окон и дверей, то похожие на гроба. Досчатые перегородки, заклеенные календарями за многие десятилетия и карточками купающихся красоток, оказывались вовсе не там, где им быть надлежало. Они вставали прямо перед носом и делали из квартиры страшный лабиринт. Мокрый облупившийся потолок как будто готовился свалиться на головы, и иностранцу, справедливо гордившемуся своим ростом, приходилось то и дело покорно сгибаться. Только стук пишущей машинки да множество синих папок напоминали о том, что здесь по-

мещается, как никак, контора. В лабиринте сновали самые неожиданные люди: дамочка в плюшевом мантио, пудренные подростки в каскетках, смачно плевавшие, корректный рентьер, несомненно из почетного легиона, еще злодейского вида особа с пронзительно визжавшей левреткой. Кто здесь хозяин, а кто гости, понять было трудно. Иностранец и не пытался этого сделать. Он послушно следовал за провалившимся носом и только на минуту остановился перед осколком зеркала, чтобы оправить свой, и так безупречный, пробор.

Наконец открылась последняя дверь, и он попал в комнатку с узким решетчатым оконцем. Ее душой, несомненно, являлся огромный несгораемый шкаф. Возле шкапа сидел тучный мужчина лет пятидесяти, с густокрасной физиономией, лишенной мелких деталей, как-то: носа или глаз, и это был директор почтенной конторы. господин Раймонд Ней. Иностранец изысканно поздоровался, но вместо ответного приветствия последовало нечто непонятное, а именно, директор, несмотря на свою комплекцию, подпрыгнул с места и начал бить в ладоши.

— Добрый день, господин Ней, — повторил весьма озадаченный иностранец.

Но господину Ней было не до него.

— Гастон! Держите ее! Убейте ее!

Провалившийся нос тотчас же изловчился и повторил маневр своего хозяина. Только тогда успокоенный директор попросил гостя присесть.

— Она меня ограбила, эта проклятая мошь! Теплый жилет и зимнее одеяло дочери! Простите, с кем имею честь говорить?..

— Вам будет немного затруднительно выговорить мое имя. Директор общества франко-русского экспорта Халыбьев.

Если бы Аристарх, скаредный половой феодосийских номеров «Крым» мог бы присутствовать при этой сцене, он наверное, несмотря на всю закоренелость своих пороков, почувствовал бы угрызения совести! Ведь это он не хотел поверить Халыбьеву в долг жалкой бутылки водки. А здесь, не в какой-нибудь Феодосии, в самом Париже, здесь Халыбьеву оказывали такой почет. Складка брюк и та могла удостоверить, что Халыбьеву теперь не приходится весь день валяться на салом диване, что он, наконец, пошел в гору.

Началось это с того вечера, когда, пропустив восемь рюмок и почувствовав вдохновение, он сочинил известную бумаженку. За «колокольчиками» Альфреда Ней последовало назначение, ящик с имуществом ссудной кассы, при эвакуации без особого труда превратившийся

в личный багаж господина Халыбьева, в Константинополь лото и четыре крупных выигрыша, там же куш в канадских долларах от одного обрезанного и следовательно перепуганного коммерсанта, на которого Халыбьев грозился донести, как на шефа почепской чрезвычайки, в дороге знакомство со старой мисс, одна ночь в каюте и сувенир в виде смарагдовой подвески, наконец, в Париже почет, фаршированные омары у Вателя, холостяцкая квартира и, планы, самые смелые планы. Если от канадских долларов, смарагдов и прочего оставалось не много, зато в изобилии имелись возможности. Было основано «общество франко-русского экспорта». Клевал некто Люре, фабрикант папиросной бумаги. Халыбьев официально поддерживал с ним переговоры о продаже большой партии слегка подмоченной папиросной бумаги, цена франко — Одесса, доставка через месяц после свержения большевиков. Но это только для вида, на самом деле Халыбьева и самого Люре много больше бумаги интересовала судьба дочери фабриканта. Дело было почти что слажено, но вдруг до Халыбьева дошли слухи, что Люре не сегодня — завтра опишут, на складе у него, кроме вот этой подмоченной бумаги, ничего не имеется, а если за дочкой дадут три старых сорочки, то и то хорошо. Халыбьев насторожился и, вместо очередного визита к приятной девице, направился на улицу Тибумэри проверять кредитоспособность папаша. Ему рекомендовали контору Ней, как наилучшую в отношении гарантии тайны. Кроме того, имя «Ней», связанное с переменами в его судьбе, приятно щекотало ухо Халыбьева. Вот по какому серьезному делу явился он сюда. Ясно, что никакие запахи не могли его остановить.

— У меня к вам крайне деликатное дело, господин Ней...

— Скромность и такт, господин Халыбьев, являются нашим профессиональным долгом. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны.

— Видите ли, я бы хотел, чтобы вы выяснили состояние финансов некоего Люре — фабрикант папиросной бумаги, улица Лясепад, девять. У него есть дочка, а моя ладья в бурном житейском море до сих пор плавает одиноко. К тому же я эмигрант, я был принужден покинуть мою родину, захваченную бандитами.

Сочувственно хмыкнув, господин Ней потрепал жирной ручищей стенку нестеряемого шкапа, как будто это было живое существо.

— Величайшее несчастье, но здесь вы можете быть спокойны. Здесь этого не может быть. Вы слышите меня.

здесь это абсолютно невозможно. Наша полиция чего-нибудь да стоит.

— Итак, я лишился родины. Бандиты отобрали мои родовые поместья в Орловской губернии. Увы, я принужден ждать восстановления законного правительства. К счастью, мне удалось, благодаря любезности французских властей, вывезти кой-какие ценности. Кстати, не было ли у вас родственников в России, господин Ней?

Услыхав слово «ценности», господин Ней не выдержал и сладко улыбнулся. Но тотчас же он вспомнил, что разговор идет о чем-то печальном, и его шарообразное лицо попыталось перемещением жиров выразить соответствующую скорбь.

— Брат, бедный Альфред, они его убили, дикари.

— Я имел счастье знать вашего покойного брата. Это был человек редкого благородства. Я был дружен с ним. Я был очень дружен с ним. Мы совместно составляли план спасения моей несчастной родины. Он погиб на своем посту. Многие погибли, господин Ней. Но те, что уцелели, должны жить. Таков закон природы, не правда ли, господин Ней? Итак, с вашего разрешения, я возвращаюсь к делу. У меня сохранились кой-какие сбережения, в виде весьма доходных акций азербейджанских нефтяных приисков. Эксплуатация под охраной англичан. Повышенная производительность. А дивиденд... Вы ведь не знаете, что такое Азербейджан?

И упоенный Халыбев не хуже Шехерезады стал рассказывать все более и более красневшему от волнения господину Ней о всех чудесах сказочного востока. Необычайная страна Азербейджан, да, это не одиннадцатый округ Парижа! В ней прямо из под земли бьет жидкое золото, то-есть, нефть, то-есть, акции. Господина Ней несколько удивило, почему Халыбев исчисляет все доходы в канадских долларах. Но Халыбев нашелся, он даже изобразил негодование: как? господин Ней не знает этого? Он деловой человек и не знает, что азербейджанская нефть идет именно в Канаду? Халыбев говорил положительно с вдохновением. Образы, мгновенно рождаясь в его голове, оравой заполняли весь кабинет. Воистину, этот человек мог быть поэтом, и в каком-нибудь московском кафэ доводить волооких дур до экстатического мления. Как он говорил! Каждым словом, каждой цифрой убаюкивал он этого черствого, жадного человека, никогда доселе не испытывавшего, что значит искусство. Он уже совершенно забыл о начальной цели своего визита. Фабрикант подмоченной бумаги его больше не интересовал. Нет дыма без огня: в дверь Люре уже стучится судебный пристав. А здесь какое раздолье! Как трогателен этот болван, который, развесив свинные

ушки, слушает сказки про нефть! С одним братом повезло, почему же не может повезти с другим? Халыбьев слышал в этой паршивой конторе, за всеми запахами сомнительных свойств, верный и приятный запах денег. Дело большое, капиталчик, как сочная груша, поспел и только ждет, чтобы его сорвали. Спешите же, Халыбьев! Тень Поллукса из Черкасского переулкa благословляет тебя.

Слушая Халыбьева, господин Ней, однако, не только развешивал уши, он также и раскидывал мозгами. У него тоже имелись планы! Богатый иностранец хочет жениться. Богатый — это приятно. Иностранец — значит простофиля, которого истинному французу провести ровно ничего не стоит. Канадские доллары немного хуже обыкновенных, — одиннадцать франков за доллар. Но все же это деньги и большие деньги! Господин Ней снова погладил свой шкаф.

Он любил деньги, любил преданно, нежно, можно даже сказать, бескорыстно. Это было мистическим чувством заядлого коллекционера. Ради своей любви он жертвовал всем. Страдая от холода, он все же не купил себе нового жилета, вместо съеденного злодейской молью. Жилет стоил девяносто франков. Капитал господина Ней исчислялся в полтора миллиона. Но, что же, разве любовь считается с доводами рассудка? Поэтому, когда в туманные дни приходилось освещать контору двумя газовыми лампочками, господин Ней стоял у счетчика и стонал:

— О коровы! Скажите, пожалуйста, у них слабые глаза!

Поэтому старые перья не выкидывались, а собирались в особую коробочку и обновлялись по рецепту, прочитанному господином Ней в отрывном календаре. Поэтому дочь господина Ней перестала играть на скрипке. Два года ее учил бесплатно какой-то чудак из нижней квартиры, скрипка тоже принадлежала ему. Когда чудак уехал в Алжир, Габриель начала плакать: она тосковала без скрипки. Конечно, господин Ней любил свою дочь, но откуда у него могли быть средства, чтобы выполнять все ее прихоти?

Единственное, что признавал господин Ней, кроме денег, это была еда. Но не ресторанная, грабительская, с соусами, за которые дерут втридорога и которыми все равно нельзя насытиться, нет, домашняя, разумная и ощутительная. Предпочитал он всему два блюда: улиток по бургундски и топленое сало. Однозубою полованной вилкой, он вытаскивал улитку и, если она оказывалась жирной, от восторга закрывал глазки. Сало же он ел без хлеба, тарелку в один присест. Иногда ему

хотелось взять и вторую тарелку, но, вспомнив о дороговизне, он быстро укрощал свои страсти. Капитал рос, рос медленно, но непрерывно. Это, конечно, не означало что он всегда должен расти медленно. Если бы нашелся подходящий компаньон, он мог бы сразу удвоиться и даже утроиться. У господина Ней были свои планы. Нет, слушая Халыбьева, он не только развешивал уши!..

— Я очень рад познакомиться с вами, господин Халыбьев. Мы займемся вашим делом. Я боюсь сказать наперед, но... но... Вы сами понимаете, слухом земля полнится. Я тоже кое-что слышал об этом Люре. Вы говорите, партия подмоченной бумаги? Да, да! мне очень неприятно вас огорчить, дорогой господин Халыбьев, но истина выше всего. Вы, ведь, пришли сюда за истиной. Ах, в Париже так часто бессовестно обманывают великодушных иностранцев! Я боюсь... Я боюсь, что у этого фабриканта репутация, ха-ха, тоже сильно подмоченная, как и его бумага. Разумеется, мы в точности выясним все. Моя контора, не считите только это за хвастовство, первая в Париже. Один отдел запротоколирования поводов для развода приносит до двухсот тысяч в год. Мы соблюдаем честность. Другие конторы сразу берут авансы и у мужа и у жены, а потом обоих водят за нос. Мы же либо покрываем, хи-хи, грешок либо уж клеймим его, как слѣдует, с понятными это смотря потому, кто наш клиент! О, Париж нас хорошо знает! Вы видали Гастона, это тот, что провел вас ко мне? Это не сыщик — это живое золото, это вроде вашей нефти. Он как будто вышел из под земли, чтобы обогатить меня.

Теперь пришла очередь господину Ней тешить своего гостя сказками. Но Халыбьев отнюдь не размяк, насторожившись, как шахматный игрок, он выжидал следующего хода противника.

— Верьте мне, мы сделаем все, что сможем. Я понимаю ваши чувства. Семейный очаг необходим человеку. Увы, я давно овдовел. Живу с дочкой и только ради дочки. Да, да, я прекрасно понимаю вас! Благородному человеку трудно жениться, особенно на чужбине.

— Благодарю вас, господин Ней. Я так тронут! Я так рад, что обратился именно к вам! Ваш брат был моим лучшим другом. Если бы не страх показаться назойливым, я попросил бы вас о счастье быть представленным вашей дочери.

— Гм. Конечно. Но видите ли, в чем дело... Я вас должен предупредить. У моей дочки чудесный характер. При том она очень красива! Не удивляйтесь, ха, ха, она не в меня, а в мать. Но бедненькая очень страдает. У нее один природный дефект. Впрочем, может это и явля-

ется причиной ее доброты. Я полагаю, что люди с таким едостатком очень удобны для близких. Жизнь столь мрачна, что право лучше ее не видеть. Бедная Габриель, она будет идеальной женой! Ее хотели вылечить, но это стоило бы огромных средств, а у меня весь капитал в обороте...

— Простите, господин Ней, разрешите же мне осведомиться, чем именно страдает ваша дочь?

— О, ничего опасного! Она... Она...

Господин Ней не успел довести до конца своего затруднительного объяснения. Открылась небольшая дверь, которая вела из кабинета в квартиру Ней, и на пороге показалась молоденькая девушка в уродливом ситцевом платье.

Но нужно думать, что ангелы водятся только в святых местах, что в Париже их можно найти лишь далеко от улицы Тибумэри, в окрестностях Сан-Сюльпис, в витринах магазинов церковной утвари, где они, улыбаясь, протягивают дарохранительницы, раскрывают послания апостолов, склоняются церемонно перед святой Марией или охраняют ночной сон щедрых жертвователей на католические семинарии. Нет, в тех витринах ангелы сделаны из гипса и позолочены бронзовым порошком. Здесь же, в зловонной конторе, в самом окаянном месте одиннадцатого полицейского округа, вдали от церкви Сан-Сюльпис, от прочих святых мест, оказался живой, дышащий, улыбающийся ангел.

Увидев лицо девушки с большими, может-быть, черзчур большими светло-голубыми глазами, ее распущенные золотистые волосы, Халыбьев подумал: да, действительно красива, но платье... Золушка!

Девушка бросилась к креслу, в котором сидел господин Ней, припала к коленям отца и стала покрывать его жирную руку поцелуями.

— Доброе утро, отец!

У нее был глубокий грудной голос, всегда неожиданный, как-будто доходивший издалека и настигавший человека. Госюдин Ней хотел познакомить ее с заманчивым иностранцем, но в это время в кабинет вбежал провалившийся нос, чем-то явно возбужденный.

— Что делать, господин Ней? Я достал этому Сальпетьеру прекрасную фотографию: жена с дружкой в одном белье. Пришлось за это заплатить вдвое хозяйке отеля. Теперь я требую с него добавочных, а он вообще ничего не хочет платить. Сидит и ревет, как теленок.

— Сейчас же отправляйтесь к нему. Взыщите все. Иначе — через полицию. Да, вы ведь туда ездите автобусом? Так не забудьте же взять за проезд!

Но девушка как будто не слыхала этих разговоров. Прижимаясь к господину Ней, она шептала:

— Отец, мне приснился ужасный сон. Вы кричали, как ребенок. А потом был звон, как на похоронах.

Господин Ней погладил ее золотистые волосы.

— Сны — это пустяки. Габриэль, сны это для маленьких детей. А ты у меня уже большая. Ты уже невеста. Вот познакомься: это господин Халыбьев, он был лучшим другом бедного дяди Альфреда.

Девушка встала, вытянула вперед руки и, глядя на Халыбьева голубыми недвигающимися глазами, сказала:

— Почему он так громко дышит? Может быть, это негр или преступник? Отец, скажите, какие у него руки? Я боюсь его.

И Халыбьев не выдержал, полный суеверного страха, как-будто в комнате показалось привидение, он закричал:

— Но, ведь, она же слепая!

О всех преимуществах слепоты.

Халыбьев направился прямо в комнату Габриели. Всего три недели прошло со дня его первого визита к господину Раймонду Ней, но три недели немалый срок, особенно для талантливого человека. По тому, как уверенно пробирался он закоулками и тупиками лабиринта, как почтительно и вместе с тем фамильярно приветствовал его провалившийся нос, как растекались в улыбку жиры самого господина Ней, по всему этому и по многому иному было очевидно, что азербейджанская нефть сделала свое дело.

— Он женится на Габриели и вложит весь капитал в мое дело, — думал, поглаживая свой шкаф, довольный папаша.

— Он и только он, пожалуй, способен перехитрить меня, — говорил своей супруге гордость и оплот конторы, сыщик Гастон.

— Он скоро будет нашим хозяиномъ, — скрипели обновленные, по рецепту господина Ней, тупые ржавые перья.

Халыбьев не торопился. Замирая от всех предвкушений, готовился он, когда придет срок, выпотрошить стальное брюхо мистического шкапа. Только мысль о Габриели несколько смущала его. Как никак, а придется жениться на этой слепой твари. Ключик к шкапу покоится под подушкой супружеского ложа. Жениться, конечно, нетрудно. Ведь отработал же он ночь в каюте с англичанкой, похожей на лысую крысу. За девушкой дело тоже не станет. Что стоит ему, обольстителю светских львиц, влюбить в себя эту несчастную идиотку? Она может почитать за райскую милость одно его прикосновение. Все это, разумеется, так. И все же Халыбьев должен был сам себе признаться, что он глупо, позорно боится какой-то слепой девченки. Когда она гля-

дит на него голубыми, недвигающимися глазами, он теряется, начинает нервничать, вертеться на стуле или прятать руки в карманы. Отвратительное малодушие! Пора, наконец, его преодолеть.

И вот сегодня утром, сидя в покойном кресле парикмахерской и жмуря глаза от неги, пока мастер мягкой, из барсучьей шерсти сделанной кисточкой водил по его деликатным щекам, Халыбьев обдумывал план генерального штурма. Приятно цикадами стрекотали ножницы, одеколон напоминал тропический дождик, а торжественность парикмахера, восковой свечой подпаливавшего кончики халыбьевских шелковистых волос, как бы подчеркивала всю важность, всю сублищность персоны клиента. Вечером предстоял пикантный ужин с Тонетт из „Folies-Bergères“. Ну, разве не прекрасна жизнь? Вот только слепая. Нет, надо решиться! И когда восхищенный парикмахер приступил к разглаживанию особенной щеточкой величественных бровей русского prince, Халыбьев уже твердо знал, что сегодня он закончит дело.

Решительно вошел он в комнату Gabrielli. Слепая как будто ждала его. Она уже давно перестала бояться этого славного иностранца, который каждый день приходил к отцу, звонко, беззлобно смеялся, дарил Gabrielli шоколад, был не негром и не преступником, но другом отца, другом дяди, добрым гением семьи Ней. Ей нравился голос Халыбьева, широкий и полный, как майский беспечный гром. Встречаясь с ним, она доверчиво, по-детски улыбалась. Благодаря его за конфеты, она говорила: «вы добрый, вы из сказки». От ужаса первой встречи осталось одно: Gabrielli боялась его острых и цепких рук. Как-то здороваясь, Халыбьев несколько удержал руку Gabrielli, тогда, не выдержав, она с криком выбежала из комнаты. Ждала ли она его сегодня? Во всяком случае, когда раздались его твердые, настойчивые шаги, она вся просветлела от радости.

Как она прекрасна, эта слепая девушка с улицы Тибумэри! Но Халыбьев отнюдь не расположен любить ее. Стиснув от ненависти зубы, он протягивает девушке большой букет роз.

— Что это? Это пахнет.

— Это цветы, это самые красивые, самые дорогие цветы, эти красные розы. Я принес их вам, Gabrielli.

Gabrielli не знает, что такое «красивые», но, право же, взяв букет, она делается еще красивей. Она не понимает, что значит слово «красные», но сама от волнения краснеет.

— Это мне? Это все мне? Вы не человек. Вы—принц.

Бедная Габриель! Ведь ей никто никогда не приносил роз. Она знала только контору, пахнувшую потом и светильным газом. Она думала, что лучше конторы может быть лишь волшебный дворец. Отец и Гастон с провалившимся носом казались ей самыми чудесными людьми на свете. Когда она была девочкой, соседка читала ей сказки Перро. Больше она в жизни ничего не узнала. И вот теперь пришло счастье. Как она тяжело дышит! Как колет шипами растерянные пальцы!

— Я хочу поговорить с вами, Габриель. Моя жизнь печальна. Я одинок. Я совсем одинок. У вас есть отец который вас любит. У меня же никого нет, никого на всем свете.

Нет, Халыбьев, действительно, артистическая натура! Он не только мог бы быть поэтом, нет, в нем еще гибнет и святой дар актера.

Послушайте, как дрожит его голос! Габриель различает в нем новые звуки, как будто кто-то ударяет ножиком о стакан. Она знает, что так говорят люди, когда им хочется плакать.

Габриель потрясена. Она не думала, что есть такое несчастье. Ей даже казалось, что она несчастна, когда у нее отняли скрипку. Какой она была глупой! Вот он несчастен! У него нет отца. Если бы Габриель только могла ему помочь. Но ей остается лишь плакать, и из голубых глаз катятся, катятся слезы, и чистые, недвигающиеся глаза, без мысли, без дрожи, глядят прямо в упор на Халыбьева. Габриель встает. Габриель идет к нему.

Не выдержав, Халыбьев пятится. Чорт возьми, до каких пор он будет бояться этой калеки? Ну, слепая, тем хуже для нее! Ничего здесь нет страшного. Время кончать комедию!

Халыбьев сам идет навстречу девушке.

— Я не сказал вам, Габриель, самого главного. Я встретил вас. Вы озарили мою жизнь. Вы только не поймете этого слова. Вы теперь для меня, как эти розы.

Габриель пугается. Габриель дрожит. Как? Она, жалкая, глупая девочка, над которой смеются мальчишки из верхней квартиры, слепая Габриель — она может быть, как эти цветы? Да, тогда он волшебник, он прикоснулся к ней своей палочкой! Вдруг он сделает так, чтобы она не была больше слепой, чтобы она поняла, что значит, когда жизнь «озаряется»?

— Вы для меня теперь все, Габриель. Я поведаю вам тайну моего сердца: я люблю вас, только вас!

Какие это новые и страшные слова! Как трудно все понять сразу! Может быть, мальчишки и правы: она жалкий урод. Она ничего не понимает. Это, наверно, от того, что она слепая. Отец говорил, что у нее не такие глаза, как у всех.

Габриель молчит. Она ничего не может ответить. Но Халыбьеву надоело ждать. С этой дурочкой надо изъясняться иначе. Он вплотную подходит к ней. На минуту он даже завидует ее слепоте: хорошо иногда не видеть того, что делаешь, например, представить себе, что это — хохотушка Тонетта из „Folies-Bergères“ Зажмурив глаза, он злобно, упорно целует девушку в губы.

Габриель вскрикивает. Потом она улыбается. Но слезы продолжают катиться, их даже стало, кажется, больше, этих быстрых и крупных слез. Она начинает что-то понимать. Ведь у нее только глаза не такие, как у всех, а кроме глаз есть еще теплые губы, которые сейчас поняли, зачем они живут на свете, есть сердце, которое теперь и впотьмах и без поводыря найдет дорогу к другому сердцу. Нет, Габриель может любить! Она шепчет:

— Я очень глупая. Отец говорит, что я в тягость. Я до вас, любила только отца и скрипку. Ее отобрали. Вы высокий. Вы говорите, как большие часы в столовой, когда они бьют. Вы — русский. Вы — любовь. Я буду с вами учиться. Я буду тогда понимать все слова. Я пойму, что такое «озаряется». Я пойму, что значит «красиво». Мне кажется, что я уже это понимаю. Ведь здесь красиво? Правда? А когда вы пришли, стало еще красивей. На стенах, наверное, розы, много роз; я слышу, как они пахнут. Гастон мне говорил, что есть море. Когда отец улыбается, его щеки живут и ходят. Это должно быть похоже на море. Вы слышите? Это в конторе смеется Гастон. Он — колокольчик, но бедный колокольчик, всегда простужен. Я так счастлива с вами!

Халыбьев с отвращением слушает эти бессвязные слова. Он глядит на сальные перегордки — хороши розы! А подбородок папаши? А гнусавый смешок провалившегося носа? Ему хочется сплюнуть, но во время спохватившись, он нежно бормочет:

— Вы правы. Когда любишь, все кажется раем. А я люблю вас. Я хочу, чтобы вы были моей женой.

— Я буду вашим всем. Я умею вязать. Я сделаю для вас круглую шапочку из шерсти. Я буду мыть пол. Но если вы прошли по нему, его нельзя мыть. Когда у меня станут глаза как у всех, вы меня повезете к морю. Я могу сейчас умереть от счастья. У меня страшно бьет-

ся сердце. Но я боюсь смерти — тогда такой ужасный звон. Я хочу, чтобы вы меня еще раз поцеловали.

Делать нечего. Халыбьев, *ведь*, решил ни перед чем не отступать. Он обнимает Габриель. Но здесь происходит нечто неожиданное для обоих: слепая кидается прочь и кричит:

— Только не руками! Я боюсь ваших рук!

И тотчас же ей становится стыдно. Как? Она боится его рук? Этого не может быть! Это гадко! Мальчишки были правы: она ужасная калека. Габриель подбегает к Халыбьеву, становится перед ним на колени и начинает кротко целовать его быстрые, ерзкие руки.

— Простите меня! Этого больше никогда не будет. Я возьму ваши руки с собой. Я буду ухаживать за ними. Я буду любить их.

Халыбьев удовлетворен. Самая неприятная часть процедуры закончена. Теперь можно дома переодеться и прямо махнуть к Тонетте. А там впереди: наизыный папаша, брачный контракт, капитал и — фюить, поминай как звали. Сейчас остается удалиться, но только так, чтобы чувствовалась вся скорьбь разлуки.

— Милая Габриель, увы, мне нужно итти. Дела. Проклятые дела! Но скоро мы будем вместе, вместе день и ночь, вместе всю жизнь. Моя любимая, до свиданья! До завтра!

Он кланяется, но поклонившись вспоминает, что слепая не может оценить его, ни его поклона, ни скорби на лице.

А Габриель все еще стоит на коленях и блаженно улыбается. Нет, никакой ангел в витринах квартала церкви Сан-Сюльпис не может так нежно, так трогательно улыбаться! Но Халыбьева злит эта улыбка, его злят голубые глаза. Она же не видит! Тогда почему она так на него смотрит? Он положительно не может вывести этих глаз!

— Прощай, моя горлянка!

И, глядя на эти невыносимо голубые, стоячие глаза, он от злобы и страха нагло высовывает свой большой, красный, мясистый язык.

Вот мы и дома.

Париж встречал новый год, встречал весело и шумно. После знойного лета было много вина. После победы было много чужого угля. После долгих лет войны было много горя. Париж знал, что если зажечь все фонари больших и окраинных бульваров, если раскупорить все бутылки с шампанским, бургундским, бордосским, сомюрским, турренским, вувресским винами, если сделать все это, то горе хотя бы на одну ночь уйдет отсюда, за старые валы фортификации, куда-нибудь на сквер, где еще чернеют развалины пикардийских городишек.

В больших кафе урчали барабаны джаз - бандов, шла пальба пробками, смокинги тощих франтов черным пластырем липли к лососиновым телам плывущих в фокстроте красоток. Бродячие скрипачи и глотатели горячей бумаги увеселяли клиентов маленьких баров. Феерически сверкали газовые площадки уличных палаток, где продавали сладкую нугу, хлопушки и ниццские фиалки. Всю ночь сновали по городу трамваи. Торговцы, дежурившие на перекрестках улиц, не успевали взрезать зеленоватые раковины португальских устриц. Дети получали большие гранаты и засыпая, все еще клевали безчисленные зернышки. Веселье было общим. Даже недипломированный провизор в эту ночь танцевал джимми и говорил о любви. Даже девки с улицы Тибумэри, вымыв ноги и надев чистые лифчики, выглядели почти что институтками.

Разве не радость увидеть Париж именно в такую ночь? Разве не радость, прямо из дикой страны норд-оста и папах, попасть на эти бульвары? Но глядя в окошко наемной каретки, на клубки электрических реклам, на кавалькады весельчаков, перебивавшихся из бара в бар, на кичливые бумажные розы, которыми убрала

свою тачку усатая торговка апельсинами, Жанна Ней не чувствовала радости. Наоборот, чем дальше отъезжала карета от Лионского вокзала, тем все грустнее и грустнее становилась эта странная француженка, наконец-то попавшая к себе на родину.

Прошло много месяцев с того дня, когда итальянский пароход в последний раз обдал дымом кожаный шлем красноармейца, игравших татарчат, парусник с красным флажком, чужое небо.

Приехав в Константинополь, Жанна свалилась с ног. Ее поместили в госпиталь при католическом монастыре. У нее нашли крупное воспаление легких. Истощенный организм медленно, с трудом оправлялся. Когда же осенью она решила во что бы то ни стало ехать дальше, не оказалось денег. Три месяца Жанна прожила гувернанткой у какой-то усатой гречанки хотевшей, чтобы ее дочь произносила обязательно «р» по-парижски. Жанна воспринимала и койку в больнице, и комнату в греческой семье, как теплушку — это не было жизнью, это было дорогой. Наконец, были собраны деньги франков, и Жанна покинула Константинополь, город жасмина и слез, бывший для нее узловой станцией.

Переезд от Лионского вокзала до улицы Тибумэри являлся как бы продолжением долгого пути, и путь этот в голове Жанны был окрещен не дорогой в милый Париж, но изгнанием, ссылкой, жестоким путем от Андрея. Увидав, наконец, оливковый, теплый, шумливый Марсель, она не обрадовалась, ведь не здесь же она встретилась с Андреем. Она осталась равнодушной, услышав французскую речь: не на этом языке с ней говорил Андрей. Он ей сказал: «слышишь, не уезжай. По-французски это было бы вежливой фразой, а на языке Андрея это шумело и несло гибель, как восток-запад».

Он сказал: «не уезжай». Почему же она уехала? Почему так легко, так безропотно, как будто это место в очереди, уступила жизнь чужой женщине, которую зовут Аглаей? Жанна не помнила, как выглядит эта Аглая, но ей казалось, что отнять у нее Андрея могла лишь очень веселая, очень прекрасная и очень злая дама, в черном шуршащем платье, похожая на даму пик. Жанна не хочет ей зла. Пусть они будут счастливы. Но кто знает, как трудно в двадцать лет отречься от жизни. А ведь жизнь осталась там, в России. И с тоской Жанна вспоминала о всех мелочах; даже папахи теперь ей казались милыми.

Здесь весело и шумно, здесь много огней, там был только один фонарь на набережной, да и тот давно

погас. Но разве эти окна кафе могут так светиться, как светились глаза товарища Захаркевича, когда он, возвращаясь с ночного заседания, заходил к Жанне? Здесь скрипки, флейты и горластый джаз-банд, но разве не перекричит их всех норд-ост? Разве мог бы по этим улицам скакать Андрей из Огуз после удачной стычки? Здесь тесно, тесно и душно. И Жанна, опуская окошко каретки, чтобы разрядить несколько эту духоту, подумала: он говорил правду. Пусть здесь будет революция. Пусть здесь будет, как там.

Но вот уже улица Тибумэри. В пути измученная Жанна порой утешала себя: дома я отдохну. Она никогда не видела ни дяди Раймонда, ни кузины. Но ей казалось, что они живут в беленьком домике с глициниями, похожем на луареттский дом. Наверное дядя читает „Journal des Débats“, а кузина мешает ему и шалит. Там Жанна, бедная старая Жанна, испытывавшая все горе любви, немного отдохнет.

Каретка остановилась. Сморщенный кучер в лаковом цилиндре помог Жанне сойти. Он даже донес до двери конторы ее скромный багаж.

— Вот мы и дома, — весело крикнул он.

— Вот я и дома, — подумала Жанна и быстро прошла в кабинет. То, что она увидела, не испугало Жанну, после ночей в вилле «Ибрагья», она разучилась бояться. Но это не было жизнью. Это было сном, страшным сном. Кажется, он когда-то снился Жанне, давно еще в детстве. Тогда она кричала, будила маму. Теперь кричать нельзя. Она никогда не проснется. Теперь этот сон навсегда.

В середине комнаты стоял провалившийся нос с бокалом шипучего вина. Господин Ней в сторонке жадно пережевывал улиток и раскатило икал. В большом кресле сидел страшный человек с отвратительной физиономией, которого Жанна уже где-то видала. Он нагло прижимал к себе дикую девушку, глядевшую на Жанну неподвижными глазами. Он был явно пьян. На Жанну никто не обратил внимания, растерянная она стояла в дверях, сжимая саквояж. Вдруг раздался голос девушки:

— Я слышу — здесь кто-то чужой.

Тогда только все оглянулись. Провалившийся нос, осушивший перед этим не мало бокалов, игриво захихикал.

— Вы не туда попали. Это второй дом, направо. Наша контора ночью всегда закрыта.

Жанна, которая помнила фотографию, стоявшую у отца на столе, обратилась к господину Ней:

— Я Жанна.

Не то от шипучего вина, принесенного щедрым Халыбьевым, не то от четырех дюжин улиток, но господин Раймонд Ней находился в состоянии крайней апатии и поэтому, не выразив никакого удивления по поводу столь неожиданного появления племянницы, он только пробурчал:

— Все лезут мне на шею. У меня капитал в обороте. Я сам нищий.

Нет, даже осетины, напавшие на теплушку, в которой Жанна ехала с папой, и те были добрей. Робко она попросила разрешения остаться в квартире дяди до утра: ей больше некуда деться. Денег хватило только только доехать.

— Хорошо. Можешь спать в конторе. Встать нужно в семь, у нас клиенты бывают и в праздники. Пока что сиди здесь. Ты видишь? Мы веселимся. Мы встречаем новый год. Ты тоже можешь веселиться.

Произнеся столь длинную речь, утомленный господин Ней проглотил еще одну улитку и впал в дремоту. Прежние отрывистые звуки икоты сменил размеренный храп. Провалившийся нос крутил свои усики и рассказывал на ухо Халыбьеву похабненькие анекдоты. Халыбьев вкусно смеялся. А Габриель? Габриель была счастлива: наконец-то добрый принц с ней. Как собаченка, она ласково жалась к Халыбьеву. Она попросила его налить еще один бокал вина.

— Кузина, я слышу, что вы добрая. Вы очень добрая. Вы, как он. Вы, как мой русский. Я не знаю вас, но я хочу погладить ваш лоб. Мне стыдно перед вами, кузина. Я слишком счастлива. Выпейте со мною за наше счастье.

— Великолепно. За счастье жениха и невесты. За процветание конторы частного розыска — услужливо прогнусавил Гастон.

— Она странная, она хорошая, — подумала Жанна. Но он! Он, ведь, русский. Я его где-то видела. Где же? Ах, да, у папы. В тот день. Он низкий человек. Я не знаю, что он делал у папы, но он наверное делал что-то низкое. Бедная девочка! Она, ведь, слепая.

— Поцелуйте меня, кузина, — попросила Габриель.

Жанна подошла к слепой и хотела поцеловать ее в щеку. Но Габриель подставила для поцелуя глаза.

— Они у меня не такие, как у всех, — сказала она при этом.

И Жанна целуя шепнула ей:

— Они у вас лучше, чем у всех.

Халыбьев усмехнулся. Он все время жадно глядел на Жанну. Он то сразу припомнил и дверь кабинета Альфреда Ней и заплаканные глаза девушки. Вот это пташечка! Она стоит всех Тонетт. Халыбьев был пьян. Поэтому, врываясь глазами в Жанну, в ее чуть приоткрытые губы, в смуглую шею, он еле сдерживался, чтобы не кинуться на девушку. Воспользовавшись тем, что Гастон на минуту вышел из комнаты, он подскочил к Жанне и мокрыми, жадными губами присосался к ее губам. Жанна не растерялась. Раздался сухой, короткий звук.

— Что это?? Друг, куда вы ушли? Я печальная без вас, — воскликнула Габриель.

— Ваша кузина уронила книгу. Я встал, чтоб ее поднять.

Халыбьев старался остудить ладонью свою щеку.

— Злючка! Как ты не злишь, а будешь моей. Я тебя хочу, а раз я, Халыбьев, чего-нибудь захочу, так я уже своего добьюсь. Я тебя сглотну, пон-пон-пончик, — злобно крикнул он, уже по-русски.

От его пьяного баса господин Ней зашевелил своими жирами и, стряхивая дремоту, удивленно пробормотал:

— Но, дорогой господин Халыбьев, почему же вы вдруг заговорили на вашем непонятном наречьи?

— Я хотел этим обрадовать вашу племянницу. Она так долго жила в России. Ей, может быть, приятно услышать этот язык, связанный для нее со столькими воспоминаниями. Я говорил ей о доброте ее покойного отца.

Жанна не пыталась возражать. Молча прошла она в отведенный ей закоулок и легла на диван, на котором днем, после своих сыщических трудов, отдыхал Гастон.

Так вот она, комната в дядином доме, где Жанне предстоит плакать, трудиться и жить. Как она будет жить, над чем трудиться, этого Жанна еще не знает. Но плакать здесь она может.

Она уже плачет. О, если б очутиться снова в вилле «Ибрагия». Если б в эту дверную щель просунулись уши Захаркевича. Если б всю жизнь стоять под дождем и плача гладить мокрые волосы Андрея. Она сама виновата. Любя, она пыталась думать, она хотела быть доброй, умной, великодушной, а любя нужно только одно — любить. Она недостойна любви. Она уехала от Андрея. Теперь ей осталось одно: лежать в этом страшном застенке и плакать. И Жанна плачет.

В кабинете еще чокаются бокалами и хохочут. Еще веселится на улице Тибумэри и на прочих улицах двадцати полицейских округов неугомонный Париж. Но Может быть, не все горе ушло за городские валы, к на и нет ни джаз-банда, ни хлопающих пробок, может быть, там тоже плачут в эту ночь бедные Жанны? Может быть, не все горе ушло за городские валы, и пустырям Пикардии? Кто знает? Ночью по чужим квартирам ходить запрещено.

Большевицкая шпионка.

Утром моют заплаканные глаза. Утром Жанна стояла перед жирами господина Ней, в негодовании колыхавшимися.

— Я благотворительностью не могу заниматься. Для всяких родственных чувств у меня нет средств. Но все-таки Альфред был моим братом. Ты не благодаря, я терпеть не могу никаких сантиментальностей. Можешь спать на диване в конторе и есть с нами. Соусов не едим. Будешь за это работать. Гастон тебе все покажет. Теперь ступай.

Это не было ночью. Это было утром. Утром плакать нельзя. Жанна прошла в контору. Несмотря на праздничный день, там уже толпились люди: ведь, ни ревнивые мужья, ни жадные кредиторы не хотели терять ни одного часа. Так началась ее новая жизнь.

С утра и до ночи Жанна регистрировала какие-то гнусные листочки: анонимные письма, показания квартирных хозяек, доносы горничных, перехваченные записки. Здесь, в этой конторе чужая любовь считалась хорошей валютой, на ней ловко спекулировал провалившийся нос. Поцелуи здесь ложились жирными печатями протоколов, а слезы, слезы и накрытых грешников и беспощадных истцов добродетели исчислялись только во франках.

Брезгливо перебирала Жанна эти листки. В Париже нет любви. Разве можно назвать любовью письма вот этой владелицы бакалейной лавки, которая с чутырмья сыщиками гоняется день и ночь за своим супругом, ловит его любовниц, торгуется с ними из-за отступных и плачет, и плачет, грязными пятнами покрывая счета конторы господина Ней, счета любовниц, молитвенник, наконец, свой атласистый живот? Если бы Жанна писала законы, она бы запретила этим людям

даже произносить слово «любовь». Она, Жанна, знает, что такое любовь. Она узнала это далеко отсюда, в стране революции, холода и героев. И вспоминая эту страну, Жанна чувствовала, что выход один: бежать, к Андрею, бежать в Москву.

По ночам она обдумывала наивные и нелепые планы бегства, как школьник, начитавшийся Купера и решивший удрать в страну краснокожих.

Дядя почти не говорил с ней. Он считал беседы с нищей девченкой напрасной тратой энергии, то-есть, непросительным мотовством. Только изредка, останавливаясь в раздумьи перед диваном, на котором спала Жанна, он изрекал:

— Изволь по ночам не вертеться. Все пружины поломаны. А ты знаешь, сколько теперь стоит починка?

Иногда вечерами заходила Габриель. Нежно обнявшись, они подолгу молчали. Габриель, вся переполненная своим счастьем, могла теперь говорить только об одном. Что Жанне было ей ответить? При одном упоминании имени Халыбьева, она испытывала омерзение. Сказать об этом слепой? Перевести ей те слова в кабинете? Нет, никогда! Жанна, ведь, знала, что такое любовь: она молчала. Молча целовала она золотые волосы. Молча грустила над чужой слепотой и молча этой же слепоте радовалась: хорошо, что она его не видит. После таких вечеров ей делалось еще тяжелей. Еще мокрей была ночью маленькая подушка. Еще настойчивей мысль: бежать.

Эти обдумывания ничего не давали. Все тщательно за ночь разработанные планы утром ей самой казались смешными. Тогда Жанна решила действовать наобум. В первый же свободный день она отправилась разыскивать русское консульство. Там ей наверное скажут, как пробраться до Москвы, может-быть, даже дадут билет. Но где оно, это консульство? В Париже, ведь, столько улиц.

Жанна шла прямо, никуда не сворачивая. Вдруг возле вокзала Монпарнасс она услышала русскую речь. Это говорили две нарядные дамы. Жанна кинулась к ним. Жанна им сказала, что она хочет ехать в Россию. Ей необходимо ехать в Россию. Здесь она умрет. Она должна сейчас же ехать. Где живет русский консул? Пусть они ей помогут. Жанна говорила быстро, путаясь, в страхе, что эти женщины, приехавшие наверное из страны Андрея, могут уйти и тогда ей снова придется вернуться на проклятую улицу Тибумэри.

Прошло немало времени, пока ошеломленные дамы опомнились. Одна из них даже успела выронить из рук какой-то сверток с покупками.

— Русское консульство помещается на улице Греннелль. Но там помогают только тем, кто убежал из России, а не тем, кто хочет туда ехать. В Россию, сейчас, голубушка, нельзя ехать. России теперь нет. Существует только большевистский ад.

Но Жанна не хотела понять обличительного пафоса этих дам. Она упорствовала:

— Нет, нет. Мне необходимо ехать в Москву. Скорей. Сейчас же...

В предельном негодовании одна из дам, та, что выронила сверток, обратилась к своей приятельнице:

— Идемте, Мария Ильинишна. Это наверно большевистская шпионка. Вы только посмотрите, какие у нее наглые глаза.

Тогда из наглых глаз Жанны потекли слезы.

Она вернулась домой поздно вечером. Может быть, в Париже и был большевистский консул. Париж большой, а этот консул не вывешивал никаких объявлений. Жанна обегала много улиц. Жанна была и в злом особняке на улице Греннелль. Но Жанне никто не хотел сказать, как проехать в Москву.

Пройдя в свой закоулок, она сразу легла. Из кабинета до нее доходил зычный бас Халыбьева.

— Дорогой господин Ней, на правах будущего родственника, я позволю себе указать вам, что ваша племянница — испорченнейшая особа. Еще при жизни вашего несчастного брата она обращалась ко мне с самыми неблагоприятными предложениями.

Вслед за этим наступила пауза. А потом неожиданно и дико прогремели спазмы хохота самого господина Ней.

— Вот как. Ну, спасибо, старина за информацию. Мы, ха-ха, сделаем соответствующие выводы.

— Андрей, — прошептала Жанна, — Андрей, неужели ты не защитишь меня?

Но Андрей был далеко. Но Андрей в этот час, над заснеженной Москвой, повторял: «Тибумэри, Тибумэри». И страшное имя трущобы, где металась беззащитная Жанна, казалось ему неслышанно нежным.

О словах, не знающих любви, и о любви, не знающей слов.

Великий писатель Жюль Лебо жил в особняке на тихой улице Сан-Пер, облюбованной антикварами и букинистами. Об этом знал весь Париж, и весь Париж мечтал пробраться за чугунные двери таинственного дома, о котором рассказывали такие завлекательные небылицы. Но Жюль Лебо был стар, все чаще он чувствовал замирание и дурноту, ноги его отекали и жить ему оставалось немного. Поэтому, как господин Ней над франками, жадно тряся он над остающимися еще часами. Никто к нему не имел доступа. От этого слухи ширились. Уже не только дамочки за файфоклоком у Румпельмайера, но и литературные критики вечерних газет стали уверять, что Жюль Лебо, впав к старости в разврат, устраивает у себя оргии с участием монахинь, русских большевиков из бывших военнопленных, омоложенных гермафродитов и даже обезьян. Когда же Жюль Лебо заявил в одной из своих книг, что он видит всю неизбежность близкой революции, более того что эта неизбежность радует его, словом, когда он стал признанным врагом общества, слухи эти начали превращаться в саркастические статьи. Самые смелые предлагали даже объявить Жюля Лебо бездарным или, по крайней мере, совершенно исписавшимся. Но так как читатели привыкли с детских лет неизменно слышать о том, что Жюль Лебо не просто писатель, а писатель «великий», из этого ничего не вышло. Даже добродетельные члены академии, более всего на свете ненавидевшие революцию, были вынуждены присудить последнюю премию, в восемьсот тысяч франков, не кому-либо, а именно Жюлю Лебо за его книгу «Некоторые злоключения господина Бегемота», которая по существу являлась злейшей сатирой и на академию и на мно-

гое иное, столь же дорогое сердцам членов жюри. Но что было делать?... Конечно, революционеров нужно сажать в тюрьму Санте, конечно, следует удвоить или даже удесятерить расходы на тайную полицию, но Жюль Лебо все-таки великий писатель!..

А присудив премию, члены жюри за вермутом, потирая для аппетита колени, рассказывали друг другу:

— Этот Лебо совсем выжил из ума. Он заперся в своей берлоге и там женит единственного подписчика газеты „L' Humanité“ на человекоподобной обезьяне, которую ему прислала из Сан-Франциско какая-то сумасшедшая почитательница. Вот завтра мы навёрное увидим нечто весьма пикантное!

Но Жюль Лебо не принял членов жюри, явившихся поздравлять его. Это было, конечно, очень невежливо, но он дорожил своим временем. Впрочем, члены жюри ничего не потеряли: в особняке не было ни монахинь, ни обезьян. Кроме великого писателя, там жила только мадемуазель Фальет, старенькая эконожка, каждое утро варившая для Жюля Лебо кофе, а во время болей приносившая ему грелку или мешок со льдом.

Жюль Лебо весь день сидел в кабинете, кутая ноги в плюшевый плед и писал. Он знал, что скоро умрет и поэтому спешил. Он хотел закончить еще одну книгу. Это была история самой обыкновенной любви, история наивная и сентиментальная. После сорока книг, умных, насмешливых и злых, зная, что эта книга — последняя, что после ее — только смерть, Жюль Лебо хотел найти слова особенно нежные и ласковые. Может быть, умирая, он хотел таким образом помириться с жизнью.

В его кабинете было много редких и ценных вещей: над каталунским Христом, сделанным из раскрашенного дерева и одетым в бархатную юбочку, который извивался, пронзенный копьем, висели картины Пикассо, изображавшие скрипки, сложные, хитрые и злые. Рядом с большим идолом из Полинезии, нагло выпятившим свой детородный орган, можно было заметить смиреннейшие лики новгородских икон. Здесь были этрусские вазы, мексиканская скульптура из лавы, тыквенная банджа негров, готические витражи, ларцы, в которых флорентийцы былых времен клали свадебные подарки, разные гребни лапландцев, гравюры Пиранези, японские карликовые деревья, натюр-морты Сезанна, метопа прекрасной сохранности, контр-рельефы и много других предметов, способных свести с ума директора любого музея. На длинных, во всю стену полках, чинно выстроившись в шеренги, готовились к мыслимым битвам, тысячи и тысячи книг от Кама-Сутры до Гильома Аполлинера, от

бормотания отцов церкви, до восклицательных знаков коммунистических брошюр. Среди этого богатства сидел умный и старый человек, великий писатель Жюль Лебо, кутая ноги в плед и мучительно вспоминая, какие же есть на свете нежные и трогательные слова, которыми можно было бы рассказать о небывалой любви двух обыкновенных влюбленных?

Впрочем, сейчас он не искал этих слов. Отложив длинные, пестрые от бесчисленных пометок, листы, он грел свои руки у камина и ждал стука в дверь. Сегодня предстояло редчайшее событие: незнакомый человек был приглашен в таинственный особняк. Объяснилось это тем, что получить от членов академического жюри восемьсот тысяч было много легче, нежели их истратить. Жюлю Лебо надоело покупать идолов и он ненавидел благотворительность. Он вообще многое ненавидел. Притом он ничего не любил. Может быть, поэтому на черновиках его новой недописанной книги было столько помарок. Несколько лет тому назад, в припадке такой ненависти, он написал свое приветствие революции. Но он не любил и революцию. Он считал коммунистов грубоватыми и наивными людьми. Когда он слышал их разговоры о грядущем равенстве, с его желтого, пергаментного лица не сходила усмешка, а в голове рождалась новая книга, которая могла бы составить вторую часть «Злоключений господина Бегемота». Нет, Жюль Лебо не ждал от коммунизма никаких чудес. Но коммунисты ненавидели то, что ненавидел и великий писатель. Поэтому, умей Лебо любить, он может быть, любил бы коммунистов. Поэтому, недавно, почувствовав при чтении газеты особенно острый приступ знакомой ненависти и отвращения, он решил передать полученные деньги тем, которые во всяком случае ненавидят и победоносную Францию, и стальной синдикат, и кресла академиков, и сладчайшего Иисуса. Случайно узнав, что к его давнему приятелю, депутату Палаты, заходил какой-то русский коммунист, Жюль Лебо, не сделав никаких пояснений, попросил депутата направить к нему этого человека.

Ровно в назначенный час в кабинет вошел коммунист. Это был Андрей. Он очень изменился. В двадцать пять лет не говорят о человеке, что он вырос. Но Андрей именно вырос и возмужал. Его лицо заострилось, движения стали резче, губы горще, суше глаза. Происходило ли это от того, что «семнадцать, улица Тибумери» для него все еще оставалась только сладким именем, что, находясь уже много недель в Париже, он до сих пор не решился кинуться, как зверь на ловца, в этот сыщический штаб? Он пробовал дежурить на ули-

це, но Жанна не показывалась. Он пытался вызывать ее по телефону, но какой-то гнусавый голос в ответ ругался и опускал трубку.

Жюль Лебо ласково принял русского. Задав ему несколько вопросов, о предполагаемом характере его деятельности, он вынул из шкапа стопочку тоненьких асигнаций.

— Вот, мой друг. Здесь ровно восемьсот. Я желаю вам от души успеха. Взамен я попрошу вас об одном: не говорите никому, что вы получили эти деньги от меня. Я не боюсь преследований, но мне не хотелось бы, чтоб и этот мой поступок толковали, как позу скучающего эстета.

Андрей поблагодарил. Хорошо — он никому не скажет. А дело теперь пойдет на лад. Он скоро поедет в Тулон.

Жюль Лебо прервал Андрея: его, право, не интересовали эти детали. Он предпочитал побеседовать с Андреем о другом. Начался длинный и сложный диспут. Жюль Лебо, неуспевший написать второй части «Злоключений господина Бегемота», теперь излагал ее Андрею на словах. Пошлость всегда остается пошлостью. Андрей видит этих белых и черных богов? Они из дерева или из кости. Их было много, очень много. Впрочем, они всегда будут, эти боги! Без них люди все равно не обойдутся. А в таком случае, не все ли равно, как именно Андрей зовет своего нового бога.

Андрей слушал внимательно; иногда поддаваясь едкости фразы, он сам усмехался, но в главном не уступал. Он отвечал путанно, грубо, и все же как-то по своему убедительно.

— А свобода? А разность? А несправедливость любви? — восклицал Жюль Лебо.

— Есть радость подчинения одного всем. Есть гибель моллюска и рождение острова. Я сам по своей воле себя вычеркиваю. Это ли не свобода? Я мелкий партийный работник, я вожусь с какой-то подпольной типографией. А Ленин вождь коминтерна. Но разве мы не делаем одного и того же дела? Я не ропщу и не завижусь. Это ли не разность? А любовь... Ну, что касается любви, то в этом я ровно ничего не смыслю.

Голос Андрея вдруг стал резким, почти враждебным. Как-то инстинктивно Жюль Лебо несколько отодвинул свое кресло и сказал:

— Да, вы меня не поймете. Может ли птица понять, что рыба задыхается на свежем воздухе, а рыба, что птица гибнет в воде? Это два мира. А я? А у меня, мой сердитый друг, и жабры и легкие.

На этом они расстались.

Шаги Андрея упрямо, непримиримо прозвучали в пустынных комнатах старого особняка, и все боги, белые или черные, деревянные или костяные, изумленно задрожали. Они ведь давно не видели живого человека. Жюль Лебо им, наверное, казался тоже богом, сделанным из желтой кожи и плюшевого пледа.

Звук шагов донесся и до кабинета великого писателя, он слегка смутил его. Ведь Жюль Лебо никогда так не шагал, даже, когда он был молод. Так может шагать только тот, кому есть куда спешить. Жюль Лебо никогда никуда не спешил, всю свою жизнь он предпочитательно усмехался. Кроме того, он еще читал и, прочитав на своем веку много книг, он знал, что это шаги революционеров, еретиков, влюбленных. Что же, может быть, русский и прав, со своими легкими. А жабры? А жабры только мешают...

Жюль Лебо вдруг почувствовал страшную скуку и слабость. Зачем он позвал к себе этого человека? Зачем дал деньги на чужое и бесцельное дело? Он только потерял полдня. А книга, любимая книга, книга о небывалой любви все еще лежит ненаписанной. Разве этот коммунист понимает, что такое любовь? Они сделаны не из плоти, эти люди, а из скучного металла. Они нагреваются только когда стреляют. Конечно, победа за ними. Но что в этом хорошего?

Одна тюрьма заменит другую. Человеческая глупость бессмертна. Зажгут тысячи плошек и станут холостыми залпами потешать новых академиков. А любовь? Любви они не знают. Любовь, нежную и прекрасную, знает Жюль Лебо. Пусть он никогда никого не любил. Он напишет так о любви, что даже этот коммунист, похожий на человека-машину из американских утопий, и тот заплачет. Но где же найти слова для такой книги?

Жюль Лебо, усталый, прилег на диван и накрылся пледом. Ему было холодно и неудобно. Ведь он был стар, и жизнь с каждым часом покидала его сморщенное желтое тело. Ах, эти часы, они исчезали скорее, нежели франки господина Раймонда Ней и их нельзя было спрятать в большой несгораемый шкаф! Он сиротливо поджал под себя ноги. В огромном кабинете он был один с белыми и черными богами, которые кривили губы и тарасили глаза.

Просунув руку под жилет, Жюль Лебо почувствовал теплоту своей груди. Это его немного утешило. Это было все же человеческим теплом. Другого у него не было. Его любил весь Париж. Его никто не любил.

Даже m-me Фальет давно уже надоело приносить ему грелку. Он был один. Он должен был найти для этой книги слова.

Если б он знал, что сейчас рядом с ним сидел человек, полный до края любви, что стоило его посадить не только ближе к камину, но и ближе к старческому сердцу, чтобы услышать столько слов нежных и прекрасных, сколько хватило бы на многие тома. Если бы он только знал, что теперь этот человек идет по улице Сан-Пер, где много букинистов и антикваров, где в витринах учат любви Овидий и Дант, где о любви твердят доски флорентийцев и миниатюры персов, что среди них и на них не глядя идет обыкновенный человек, в пальто из конфекционного магазина, сухой человек, незадолго перед этим утверждавший, что он ровно ничего не смыслит в любви, идет и повторяет девичье имя. Если б он только знал, что его, Жюля Лебо, книга о любви никогда не будет написана, а этот человек свою уже написал одним коротеньким словом: «Жанна».

Сегодня у насъ молодое вино!

На стеклах маленького ресторана мелом была нарисована виноградная гроздь. Надпись под ней поясняла «У насъ сегодня молодое вино». Андрей посмотрел — не ошибся ли он? Ведь в Париже так много ресторанчиков и все они похожи друг на друга. Нет, кажется, не ошибся: улица Кампань-Премьер, четвертый дом от угла, вывеска «Встреча друзей и кучеров». Хорошая вывеска! Она не только указывала Андрею, что это и есть нужное ему место, но еще как бы объясняла, зачем он сюда пришел. Только новый друг, с которым Андрей должен был здесь встретиться, являлся не кучером, а шоффером. Впрочем, это и неважно. Зачем так педантично воспринимать милую старую вывеску? Даже принц или трубочист могли бы зайти в это честное заведение, съесть рагу по-тулузски и выпить кувшин молодого вина.

Андрей спросил себе стаканчик. Вино оказалось мутным и легким, как квас. Андрей был весел, весел и до вина. Нет, вино тут было не причем! Андрей мог бы написать у себя на лбу: «У нас сегодня молодое вино».

Хозяйка, не глядите лукаво! Он может пить воду и так же улыбаться. Ему двадцать пять лет. Вы понимаете, что это значить? Но это еще не все. Он к тому же занят теперь одним очень веселым делом. Вы спросите: каким? Этого вам нельзя сказать, не то вы выроните, пожалуй, кувшин с вином и побежите за усатым полицейским. Вы ведь так боитесь забастовок: тогда не бывает ни газа, ни воды. Но послушайте, и это еще не все. Ваш веселый гость влюблен. Но, Боже мой, в кого же? Этого вы также не узнаете. У вас дурная привычка: вы любите судачить со старой привратницей. Да это и неважно: вы с ней все равно

незнакомы. Теперь вы понимаете, что дело не в вашем вине, какими бы достоинствами оно ни обладало.

А молодое вино, нежное и легкое, играет сентиментальным золотом в узком стакане. Как оно хорошо пахнет! Это запах грозди, чуть тронутой первыми заморозками, это бодрый запах осени, пустых полей, скрипящих вozов, высокого ясного неба. Его все пьют, молодое вино. Ведь оно же не каждый день бывает. Пьет хозяйка и, забыв о невзысканных с гостей франках, притоптывает, подплясывает: пейте, друзья! Дощечка, та, что над стойкой, врет. «Сегодня за наличные, а завтра в долг». Кто это только выдумал? Нет, читайте иначе: «сегодня молодое вино, а завтра»... Но раз сегодня молодое вино, то и нет никакого «завтра».

Пьют его и двое влюбленных, как птицы, засевшие в самый темный уголочек. Он не кучер, он слесарь. Кучеров здесь вообще нет, кучера только на выставке. Зато это, конечно же, встреча друзей. Она мидинетка, она делает красивые шляпы. Но на ней самой нет шляпы, шляпы стоять ведь очень дорого. Впрочем, сейчас она и не жалеет об этом, сейчас шляпа только бы мешала. Когда на голове шляпа, неудобно целоваться. Это тоже не от вина. Они могли бы целоваться и на улице, под старым зонтиком. Но на улице целоваться мешают прохожие.

Слов нет — хорошее вино! Хлебнул его и старый оверньяк, который у входа в ресторанчик продает горючие каштаны. Хлебнул и закричал:

-- Молодое вино! Веселое вино!

Не подумайте только, что оверньяки это те, что врут. Врут — это гасконцы, а оверньяки продают каштаны. Старик прыгает над жаровней, обугленными пальцами он переворачивает каштаны, которые от жара лопаются и громко стреляют. Подсмеивается оверньяк: хорошие в Оверни каштаны, хорошее в Туррени вино, хорошая жизнь на белом свете! Нет, оверньяки это не те, что врут!

Всех веселей был Андрей. Лебо — молодчина. Дело теперь пойдет. Андрею было необходимо скорее начать работу. Он бродил, как молодое вино, которое может разорвать железные обручи бочки. Прошел уже месяц, как он покинул Москву, и, откровенно говоря, этот месяц был очень скучным. В Ковне ему пришлось сначала умереть, а потом мирно воскреснуть в образе некоего Казимира Бататайтиса, который ехал в Париж, чтобы приобрести для целой дюжины литовских министерств, до последнего времени, кажется, обходившихся одним ремингтоном, обнаруженным в женской прогимназии, французские пишущие машинки: по дюжине

на каждое министерство. Переехав французскую границу, он больше ни о министерствах, ни о машинках не вспоминал, но фамилию свою зубрил с похвальным прилежанием: фамилия была не из легких и как-то плохо выговаривалась.

Почему Андрей решил ехать именно во Францию? Во-первых, он сызмальства превосходно владел французским языком, так что Жанна при первом знакомстве приняла его за парижанина. Во-вторых, в сытой победной Франции его дело казалось наиболее трудным и безнадежным. Имелось, разумеется, и «в-третьих», но об этом «в третьих» Андрей не любил признаваться даже самому себе.

В Париже, оглядевшись, он решил заняться матросами. Может быть, в этом сказалось воспоминание о черноморском бунте французских моряков во главе с Андре Марти, а, может быть, просто одно слово «матрос» обнадеживало его. Матросы всюду матросы. Они никогда не носят котелков и хороший шторм им не в диковину. Тулон может оказаться прекрасным Кронштадтом.

Остановка была только за деньгами. Но вчерашний день все изменил. Члены жюри выручали. Теперь он может ехать в Тулон или в Брест. Надо только кой с кем связаться. И вот он явился сюда, чтобы встретиться с шоффером, с Пьером Пуатра. Этот не как другие, этот настоящий коммунист!

Да, дело клеится! И Андрей был весел. Вспомнив о вчерашнем споре, он даже почувствовал к Жюлю Лебо нечто вроде жалости. Конечно, он великий писатель. «Бегемот» прекрасная книга. Но все же отчего-то жалко его. Он, как его боги, смотрит на все стеклянными глазами. Столько ума, а если присмотреться — бедный одинокий старик. Нет, Андрей счастливей его! Лебо не верит в революцию. Лебо не любит людей. И еще, и еще: разве великий писатель знает, что узкая грязная улочка Тибумери может быть страстью, миром, жизнью? Бедный Лебо!

Но Андрей пожалел Лебо как-то мимоходом, между двумя мыслями о типографии в Тулоне, между двумя вздохами о смуглой Жанне, между двумя стаканами молодого вина. Хорошо, обстоятельно жалеть умеют только старые люди. Может быть, и Андрей когда-нибудь этому научится, этак лет через сорок. А сегодня? А сегодня у нас молодое вино!

Пришел новый гость. Хозяйка, пожалуйста, и ему стаканчик! На нем были бархатные шаровары и куртка с козым мехом наружу. Веселый костюм, да и сам он веселый. Он пил вино и частенько поглядывал в окош-

ко. Кого же он там оставил: приятеля или собаченку? Да нет же: ведь это и был самый настоящий коммунист, шоффер Пьер Пуатра, и поджидал его у дверей огромный автомобиль. Пуатра бросил в орган два су и все стаканы с вином или без вина завизжали от рева валика. «Марион, красotka Марион!» Может быть, от этой Марион у хозяйки и заболели уши, зато приятели могли вдоволь обо всем поговорить. Разговор, впрочем, был недолгим.

— Достал.

— Вот здорово! Ну, теперь-то мы их заполучим! Я с вами катну.

— Идет. Сначала Марсель, потом Брест. Надо только представить инструкции в комитет.

— Это в четверг.

Сделано дело. А теперь можно посмеяться, можно выпить еще по стаканчику молодого сладкого вина.

Пуатра снова кинул монету в машинку, на этот раз для чистого удовольствия. Последовала сентиментальная песня. Это была песня, которую пели и в шикарных барах Монмартра и в глухих темных дворах одиннадцатого полицейского округа. Это была песня о том, как хорошо дремать рядом с русской девченкой. Нет, вернее это была песня о том, как нехорошо, когда русая девченка уходит, как грустно тогда спать одному. Пуатра расчувствовался. Положительно, этот человек в козьей куртке умел делать все: стрелять из ми-тралезы, варить чечевичу, управлять моторной лодкой, петь романсы о русской девченке, проводить электрические звонки, ловить лангустов, делать революцию, печалиться, смеяться и любить. Кто скажет, что этого мало для одного человека? Пуатра всегда был весел, даже когда он был печален. Просидев недавно четыре месяца в политическом корпусе тюрьмы Санте, он научился играть на гребенке и штопать (до сих пор он порванные носки зашивал). Кроме того, он в камере пел такие веселые песни, что даже самые мужественные надзиратели заболевали мигренью. Жил он один на мансарде. Утром закручивал автомобиль, вечером ходил на партийные собрания и всячески одобрял жизнь.

Сейчас он одобрил также и молодое вино. Когда же машинка стала упорно твердить о русской девченке, он, расчувствовавшись, даже вытер красным фуляровым платком свои глаза шоффера, которые, казалось, должны были привыкнуть и к пыли, и к бензину. Вероятно, на это были свои причины.

А Андрей не слушал песен. А Андрей теперь думал об одном: неужели он уедет в Тулон, так и не уви-

дав Жанны? Нет, этого не может быть! Это уже не горе, это просто чепуха! Она где-то рядом с ним. Она в Париже, и он не может ее найти! Пойти туда? Но этим он не только себя раскроет, он может погубить и ее. Дядя, бюро сыска, русский большевик. Что же делать? Он не может без нее!.. Смуглая, грустная милая, где ты? Жанна! Любовь! В поздний час, в туманный вечер, когда тихо плывут среди белого дыма призрачные галеры огней, когда в окнах любого дома лампа и нежность, Жанна, отзовись!

Андрей взял Пуатра за локоть.

— Я хочу вас попросить об одной услуге. Мне необходимо разыскать здесь знакомую. Итти туда нелегальному нельзя. Легко и ее запутать. Может быть, вы с машиной подежурите возле дома?

— Конечно! Вы только расскажите мне, какая она с виду?

Что же, Андрей рассказал. Но, вероятно, это не было спокойным перечнем примет. Вероятно, это никак не напоминало ни полицейского протокола, ни описания персонажей в романах великого писателя Жюль Лебо. О, он был скромен, он не сказал ничего лишнего. Почти девическая стыдливость проверяла его слова. Но все же это было рассказано так, что Пьер Пуатра снова вынул фуляровый платок, хотя машина давно замолкла. Среди всех вещей, которые он умел делать, не было отгадывание чужих мыслей. Нет, этого Пуатра не умел делать. Но бывают, очевидно, мысли, которые могут читать и профаны. Когда Андрей кончил, Пуатра сказал:

— Значит, у вас подруга? У меня тоже. Моя русенская.

Так вот почему шоффер слишком внимательно слушал шарманку. Может быть, он и не знал, как хорошо дремать с этой девченкой, но как грустно спать одному — это он наверное знал.

Андрей не обиделся. Слово «подруга», примененное к Жанне, к Жанне, с которой, полюбив ее, он пробыл всего один час, под дождем, у Орлута, не смутило его. Он ни за что не признался бы великому писателю Жюлю Лебо, хорошо знающему все слова о любви, в том, что он, Андрей, кого-то любит. Но ему было легко говорить о Жанне с этим веселым товарищем, у которого тоже есть одна, только не смуглая, а светлая, русенская.

Пуатра же продолжал:

— Моя танцует на канате.

Нет, это не было аллегорией. До аллегорий Пуатра никогда не доходил. Это было профессией. Ма-

ленькая Лизетт, подруга шоффера, работала в бродячем балагане и каждый вечер, в каком-нибудь из двадцати округов Парижа она танцевала на канате.

— Да, она танцует на канате, плутовка Лизетт. А ваша?

Андрей не мог ничего ответить. Что делает сейчас Жанна? Кто знает? На минуту им овладела тревога. Он почувствовал необходимость произнести вслух ее, почти запретное имя.

— Она? Нет, она не Лизетт. Она Жанна.

Как радостно, как хорошо прозвучало это слово!

— Ну, за вашу Жанну!

Пуатра поднял стакан с молодым вином. Андрей улыбнулся и выпил. Да, это за Жанну! Молодое, веселое вино! Было горе, но где оно? А разлука? Разве страшна разлука, когда столько лет впереди, когда не нужно трястись над часами, как трясется отшельник с улицы Сан-Пер? Нет, и разлука не в счет! Есть только любовь. Итак, за Жанну!

Конечно, молодое вино делается старым. Тогда оно даже повысится в цене. Знатоки будут находить в нем «букет». Заплесневевшие бутылки станут приманкой для гастрономов и снобов. Это старое, дорогое, выдержанное в темных погребах вино люди начнут чтить, как чтут теперь старого Жюля Лебо. Его будут пить на торжественных банкетах и тогда не раз старое вино окажется печальным вином, ложась камнем на сердце хитрого министра, перерывая воспоминания седеющих красавиц и заставляя плакать поэтов, давно живущих одной только славой. Может быть, таким станет и Андрей. Может быть, выпив тогда стакан старого вина, он вспомнит о Жанне, об этом вечере в маленьком ресторанчике, где пела шарманка, а хозяйка приплясывала ей в такт, вспомнит и загрустит. Может быть. Но сегодня он любит. Но сегодня он весел. Но сегодня... Но сегодня у нас молодое вино! Если не верите, спросите оверньяка. Оверньяки никогда не врут.

Как они мчались к счастью в гости.

Бывают ясные дни, бывают и пасмурные, дождливые. Но что сказать об этом дне? Ведь до обеда по крайней мере раз десять шел дождь и снова выглядывало солнце. Это был, во всяком случае, очень капризный день. Дамы не успевали раскрывать и закрывать свои зонтики. Тротуары быстро высыхали и становились светлосерыми, даже пыльными, а потом снова блестели, как будто их наваксили целые полки итальянцев, сидящих, поджав ноги, на углах улиц с батареями разнокалиберных щеток. Такие дни бывают только в феврале, когда исход войны между зимой и весной еще неясен. Тр-есть, может быть, он и ясен комунибудь, но ни тучи, ни солнце, ни эти тротуары не знают даже о существовании метеорологии. Короткий февраль может стать всем, большим сезоном, настоящим временем года. Но обыкновенно он ничем не становится и пробегаёт, куцый, как одна сплошная недомолвка. Итак, это был настоящий февральский день. В нем было поровну и радости и горя. В одиннадцать даже настройщик роялей с улицы Тибумери, брюзгливый ревматик, и тот улыбался, глядя на тоненький юркий лучик, контрабандно прокравшийся в темный двор. А в четверть двенадцатого мальчики, пускавшие в Люксембургском саду и в парке Монсо бумажных змеев, промокшие до последней ниточки, испуганно дрожали. Значит, они ошиблись: зимой ведь не пускают змеев, зимой играют в прятки. Но зима ли это? Вот снова солнце. Тогда, может быть, весна? Может быть...

Однако, в почтенной конторе на улице Тибумери была безусловно зима. Даже самые пронырливые, самые изворотливые лучики туда не проникали. Можно было вывесить соответствующее объявление: ревнивцы, филера, кляузники, пыль, туман, пожалуйста, милости

просим! А солнце... Нет, солнце — это нечто постороннее, солнцу вход запрещается.

Такая же унылая, ничем необоримая зима стояла и в сердце маленькой конторщицы, над которой измывались все: и господин директор, и провалившийся нос, и посетители и даже ржавые перья. Маленькую конторщицу звали Жанной: ведь она до сих пор не сумела убежать в далекую Москву! Она должна была выслушивать то попреки, то сальные заигрывания господина Раймонда Ней, регистрировать бумажки и ждать. Ждать. Но чего? Да, конечно же, только чуда! Разве не чудом пришел к ней в страшную ночь добрый Захаркевич? Андрей сказал: я приеду. И всякий раз, когда дверь конторы открывалась, Жанна вздрагивала. Но мрачно глядели на нее новые клиенты, озабоченные только своими происками и подвохами. Андрея все не было. Может быть, он потерял адрес? Может быть, его расстреляла какая-нибудь разведка? Что же, бегая в отчаянии по Парижу, Жанна как-то увидела Сену. Если бы она только знала, что Андрей не придет! В Сене много спокойной и темной воды.

В этот февральский денек, когда дамы взволнованно выставляли руки — закрыть зонтик? раскрыть зонтик? — Жанна сидела, отупевшая, пустая над кипой бумаг. Ее ничто не волновало.

Зашла Габриель. Не проводит ли ее Жанна до лавочки? Отец приказал купить две дюжины улиток.

Господин Ней напутственно прогромыхал:

— Только жирных и не дороже восемнадцати су! А ты (это относилось уже к Жанне) изволь, когда идешь с моей дочерью, не приставать к мужчинам. Я тебя насквозь вижу!

Они вышли в счастливую минуту, когда брала верх весна, и Габриель, почувствовав на своей щеке теплое трепетание, сказала:

— Это, как когда он целует. Это хорошо. Это весна.

Но Жанну никто не целовал. Это весна? Нет, весна осталась в Феодосии, а это не весна, это только улица Тибумери!

У ворот она увидела автомобиль. Наверное, какой-нибудь нетерпеливый ревнивец мчался сюда, мчался во всю прыть, спеша узнать, как изменяет ему жена, боясь это узнать, боясь и спеша, то крича шофферу: «стой, назад!» то стуча палкой в стекло и подгоняя машину: «скорей же!».

Но шоффер почему-то окликнул Жанну. Она оглянулась. Тогда он рукой подманил ее. Кинув слепую, Жанна стремительно подбежала. Ведь ее никто не может звать, никто кроме него!

А Пьер Пуатра, веселый шоффер в козьей куртке, улыбался.

— Так вот вы какая! Совсем смугленькая...

— Вы меня звали?

— Да. То-есть, собственно говоря, он Ваш дружок. Он молодцом. Все в порядке. Он будет вас ждать завтра, в пять, в Люксембургском саду, возле фонтана Медичи.

Дамы, закройте все зонтики! Мальчики, скорей пускайте змеев! Не спорьте, только не спорьте! Это — весна! Разве Жанна была несчастна? Не может быть! Это ей просто померещилось. Папа? Он только уснул. А Аглая? Аглая выдумал какой-то злой кудесник. Не в кинематографе ли она видела улицу Тибумери?. Какая контора?? Жанна там не была! Это она читала у Диккенса, это не здесь, это в туманном Лондоне. Константинополь — кружочек на школьной карте. Прямо из луареттского домика Жанна идет в Люксембургский сад. Фонтан Медичи — это, наверное, прекрасно!

Жанна весело смеется. Еще минута и, пожалуй, она начнет хлопать в ладоши или прыгать на одной ноге. И смеется, и громко и славно смеется веселый Пуатра. Как хорошо, что солнце может так греть!

Пуатра говорит Жанне:

— Знаете что?.. Сегодня первый весенний день. Плюну я на свой таксометр. Садитесь-ка со своей се-стричкой. Я вас покатаю, покатаю во-всю.

Габриель, забытая, наконец, недоуменно окликает Жанну:

— Кузина, где вы? С кем вы говорите?

— С шоффером, с добрым шоффером. Он хочет нас покатать.

— А отец? А улитки?

Но слишком сильно искушение. Ведь Габриель никогда не ездила в автомобиле. Один раз она ездила в трамвае, но это, наверное, совсем не то. А что-то теплое ласково треплет ее щеку. Да ведь это же весна! Нет, Габриель не может удержаться. Пусть отец бранит ее — все равно!

— Значит, едем?

Шумит мотор. Смеется Пуатра. Смеются две девушки. Настройщик роялей испуганно жмется к стене: автомобиль! Они несутся быстро, быстро.

Вертит колесо, нажимает педаль веселый шоффер. Ему надоело стоять на улице Тибумери. Противная улица! У Пуатра с ней свои, старые счеты. Когда он держал экзамен на право выезжать, вот эта улица и подвела его. Последний экзамен — по знанию улиц. Экзаменовали старые кучера, а кучера, как известно,

шофферов не очень-то любят. Так вот один из кучеров, самый красноносый, самый ехидный, спросил Пуатра: «а как проехать с улицы Дюто к бойням, на улицу Морильон?» Пуатра ответил: «Сначала по улице Дют, потом по улице Алляре, потом... потом по улице Кронстат». Нет, неверно, по пути еще одна! Но как она называется? Не то Мумумури, не то Бебеберид. Так и промывчал нечто невнятное. У кучера от раздражения нос еще гуще покраснел: «Не годится. Приходите через две недели». Какая подлая улица! Три часа он сегодня на ней простоял, поджидая Жанну. А теперь скорей отсюда, прочь!

Шуми, мотор! Гуди, рожок! Дорогу нам, дорогу!

Когда автомобиль поворачивает, Габриель вскрикивает. Нет, она не боится. Просто она никогда не ездила в автомобиле. Это совсем не страшно. Это даже весело. Ветер бежит навстречу, шалит с волосами, дует, глупый, в ухо. Скорей, скорей! Ей, кажется, что они проехали уже сотни километров. Это не Париж. Это море. Оно ходит и шумит.

Нет, это шумят веселые бульвары. Они не только шумят, они и смеются, смеются, как Пуатра, смеются, как Жанна. Смеются пестрые анемоны в плетенке цветочницы. Смеется белый фартук гарсона с подносом. Смеется солнце на подносе. Смеется в стакане алый гренатин. Смеются в окнах ворохи лент. Париж, милый Париж, до чего же ты прекрасен!..

Вот и Сена! Нет, в ней вода совсем не для того, чтобы топиться. По Сене можно поехать куда-нибудь, например, в Медон, там уже скоро зацветут вишни. Ехать и всю дорогу целоваться. Но фонтан Медичи, наверное, еще лучше Медона! Завтра в пять. Значит, осталось еще двадцать семь часов. Как бы подогнать время. Ленивые стрелки, двигайтесь! Неситесь, как мы несемся!

Жанна ногами упирается в стенку. От быстрой езды она откидывается назад. Ей кажется, что ее ноги подталкивают машину. Ей кажется еще, что чем скорей ехать, тем ближе фонтан Медичи. Завтра в пять! Скорей же! И веселый Пуатра нажимает педаль. И несется автомобиль все скорей и скорей.

Пуатра рад: он катает подругу товарища. Она смуглая. Хорошо бы покатать Лизетт, русенькую девченку, капризную плясунью. Хорошо бы с ней мчаться вдвоем. Она ведь тоже никогда не ездила в автомобиле. Она ездит, спит и живет в старом желтом фургоне. Фургон тащут две клячи. Лошади боятся автомобилей. Но Лизетт не боится Пьера. Если уж на то пошло, Пьер

немного побаивается Лизетт. Вдруг она сегодня надует губки, не захочет целоваться, станет кокетничать с наездником. А наездник будет хлопать бичем и глупо кричать: «алле!» Нет, этого не может быть! Сегодня — весна, сегодня — удача, сегодня в темном фургоне под визг карусельных шарманок, Пуатра получит все, что только есть у Лизетт. А есть у нее много: сердце, губы, глаза, щеки, волосы, милые русые волосы, шея, плечо... Нет, дальше лучше не считать. Не то можно очень легко раздавить кого-нибудь.

Скорей же, машина!

Стрелка скачет: восемнадцать, двадцать. Смеется Пуатра.

Габриель вдруг говорит Жанне:

— Он со мной такой строгий, мой русский. Я боюсь прогневить его. Он часто сердится, я слышу это по тому, как он громко дышит. Я сама во всем виновата. Я очень дурная. Но, если он меня ударит, я буду счастлива.

Что это? Жанна вздрагивает. Это не фонтан Медичи. Кажется, Габриель говорила о чем-то печальном. Пошел дождь. Пуатра покрылся брезентом. Жанна тоже становится грустной. Но это несерьезно, это грусть — мимоходом, это только февральская куцая грусть, на десять минут, пока не покажется солнце. Она думает: вот Габриель может любить. Ей не нужно счастья. Она, как святая. А Жанна простая девушка. Жанна любит сласти. Жанне нравятся красивые платья, вот в тех окнах. Жанна в театре на «Адриенне Лекуврер» тихонько плакала. Ей хочется счастья. Ей хочется, чтоб Андрей целовал ее. Может быть, это и жалкая, чело-веческая любовь. Она не умеет иначе. Завтра в пять! А, может быть, это и не плохо? Андрей приехал. Он ее любит. Он ее увезет в Россию. И Жанна снова улыбается. И снова оголтелое солнце мечется по сизому асфальту.

Ну, конечно, эта грусть вовсе и не была грустью. Просто шел дождь. Жанна слишком много страдала, чтобы грустить теперь, когда до фонтана остается всего двадцать шесть часов. Шоффер, добрый шоффер, скорей!

Пляшет стрелка. Это так скоро, скорей нельзя. Если скорей, Пуатра пожалуй поведут в комиссариат. Габриель не видит стрелки, не видит несущихся навстречу домов. Но она слышит ветер. Ветер все острее, все шумливей. И слепая шепчет Жанне:

— Кузина, мне кажется, что мы куда-то спешим. Но, ведь нам некуда спешить. Надо было в лавочку, но это же на нашей улице. А мы так спешим, как

будто мчимся к кому-нибудь в гости. К кому же?

— К счастью!

И Жанна смеется. И смеется Пуатра. Лизетт его сегодня пустит в старый фургон. Да, они мчатся прямо к счастью!

Что это? Кладбище? Но какое оно радостное, это кладбище! Габриель спрашивает:

— Кузина, это сад? Правда? Я слышу, как пахнет земля.

— Да, это сад, это прекрасный сад.

Говоря так, Жанна не лжет. Ей и вправду кладбище кажется чудным садом. Она видит могилы, но могилы радостны и тихи. Жанна, не слепая, но, может быть, сегодня у нее глаза тоже не такие, как у всех: ведь, осталось всего двадцать пять с половиной часов!

Мотор, дорогой мотор, скорее! Пусть трясутся в возмущении жиры господина Ней: он сегодня не получит улиток. Он будет рычать, как целый зоологический сад. Все равно! Пуатра потерял весь день, он заплатит хозяину штраф. Все равно! Темно и тепло будет в фургоне. Педаль. Колесо. Рожок. Субъект в цилиндре, посторонитесь! Мы мчимся! Мы мчимся к счастью в гости!

О чем говорил Люксембургский сад.

Они молчали. Напрасно было бы припоминать все языки мира, перелистывать самые толстые словари Ларусса или Даля. Таких слов просто не существовало. Выговорить всю радость этой минуты, судя по большим часам на Люксембургском дворце — самой обыкновенной минуты, четвертой минуты шестого полуденного часа, могло только молчание. Теперь оно не было рождено ни запретом Жанны, ни страхом Андрея. Нет. Люксембургский сад не напоминал развалины Орлута! Это молчание, блаженное и звонкое, наполнилось не только всеми словами многотомных словарей, но и вовсе неслышными звуками: счетом воды, походкой сердца, скрипом песка, даже, может быть, сказочным ростом травы, норотившей уже выскочить из-под земли, чтобы увидеть этих двух влюбленных. Если бы можно было бы всегда так молчать, люди наверное бы сожгли и Даля, и Ларусса.

Андрей и Жанна могли так молчать потому, что за них говорили другие. За них говорили хотя бы эти каштаны, нетерпеливые каштаны, с распухшими от волнения ветками. Другие деревья не спешат: ясень цветет в апреле, платан в мае, а ленивица липа даже в июне. Но каштанам всегда некогда. Под липами будут шалить лицеисты между двумя экзаменами. Но куда же деться влюбленным в марте? А в марте ведь особенно много влюбленных. И старые каштаны спешили убрать-ся белыми свечками. Ни Андрей, ни Жанна не умели, наверное, различать породы деревьев, к тому же безлистных. Но они встретились именно под каштанами, и каштаны за них говорили.

За них говорили также дрозды, веселые черные дрозды в модных смокингах. У Рима есть мрачные, почти мифологические ласточки. На Пречистенском бульваре забористо соорятся воробы. А по Люксембургскому

саду, посвистывая, прыгают насмешливые дрозды. Но в тот день их свист не означал ни насмешки, ни порицания, нет, они свистели от добрых чувств.

Вода в фонтане Медичи была не водой, а клавирами. Кто-то умел хорошо на них играть. Может быть, Андрей? Или Жанна? Или оба вместе?

В бассейне, прислушиваясь к этим звукам среди прошлогодних рыжих листьев, золотые рыбки проделывали сложные пируэты. Да, как это и ни покажется странным, даже рыбы, прославленные своей молчаливостью, ударяя хвостами воду, говорили за них.

За них говорили новорожденная весна и старый Люксембургский сад, со всей его флорой и фауной.

По соседней дорожке рассеянно шагал молодой человек. Трубка его давно погасла. Он мог бы радоваться: вчера он впервые увидел свою элегию напечатанной в тулузском журнале спорта и мод. Но сейчас он не радовался, сейчас он был очень озабочен; он сочинил другую элегию и никак не мог подыскать нужного ему ассонанса. В голову лезли одни только рифмы, а поэт хорошо знал, что рифмы устаревшая вещь. Он наталкался на скамейку, он все время шевелил губами. Тема его новой элегии была еще неясна и ему самому, но это несомненно была история Жанны и Андрея. Ведь никто в Люксембургском саду сейчас не мог говорить о другом.

Возле мраморной Жорж-Занд девочки играли в серсо. Они весело верещали, но совсем не потому, что соломенное колесо попадало на палочки. Нет, в сердцах двух взрослых детей, не игравших в серсо, кроме радости каштанов, кроме нежностей воды, кроме эздов элегий, было еще много ребяческого веселья и девочки верещали за них. А Жанна и Андрей молчали.

Какой-то школьник остановился у апельсинового дерева в кадке, у того, что слева от дворца. Все школьники лицея Сан-Луи знали, что если обойти это дерево три раза, учитель математики, независимо от познаний, поставит высокого бал. Но на этот раз школьник обошел дерево вполне бескорыстно: он ведь возвращался домой, а дома не было никаких учителей. Не оберегали ли суеверно двое влюбленных, молча сидевших на скамейке под каштанами, свое позднее счастье?

Нечего говорить о том, что бородатый Верлен, на лысине которого отдыхали веселые дрозды, все время декламировал самые нежные, самые трогательные из своих стихотворений. Блудный беспутный Верлен, он уже пятьдесят лет тому назад начал говорить за них.

Единственным исключением являлись старые сенаторы, которые, не выдержав длиннот заседания, пришли зевать возле окон. Увидев дроздов, серсо, влюбленных и весну, они разозлились. Правда во всем этом не было прямого нарушения законов, одобренных ими, но все же и весна, и влюбленные и даже дрозды напоминали им о чем-то неприятном: не то о похоронах, не то о революции. Но кто на них обращал внимание? Среди фауны Люксембургского сада они были старыми барсуками, а барсуки — это очень угрюмые звери. Все же остальные обитатели большого сада, включая сюда и траву, и деревья, радовались, не просто радовались, а радовались за Андрей и Жанну.

Они же молчали. Любовь была неумолимым цензором, она запрещала все слова. Андрей как взял руки Жанны, так и не выпустил их. Милые смуглые руки! Он их больше никогда не выпустит! Андрей, взбалмошный, переменчивый Андрей был теперь тверд и ясен. Андрей заработал свою любовь. Жанна для него не случайный выигрыш, не счастливая карта. Ведь это же разлука провела две борозды возле недавно еще беспечных губ. Он любил ее теперь дико и просто, как тяжелую добычу. Разве не пронес он ее через пустыню, пронес на плечах, падая, почти сдаваясь и снова подымаясь от одной только мысли: донести? Андрей больше никогда не выпустит этих рук! Никогда!

Они и не хотят уйти. Где все сомнения Жанны? Может быть, она поглупела? Ведь она больше ни о чем не думает. Она теперь не ищет объяснений любви, не пытается быть умной или благородной. Она просто любит. Как будто вместо трагических кофурн на ее ногах оказались снова неуклюжие сабо луареттской девушки. Она не спрашивает об Аглае. Если Аглая сейчас умрет от горя, она все равно не вырвет из рук Андрея своих рук. Она не думает, сможет ли быть достойным товарищем Андрея, готовить с ним революцию. Она любит теперь революцию, она любит Россию. Но что нужно делать, этого она не знает. Андрей ей скажет. В руках Андрея теперь не только ее руки, но и вся жизнь. Как это просто! Нет, Жанна не поглупела. Она только стала взрослой. Она выросла из того, орлутского горя. То горе было горем роста. Если придет другое, настоящее, неотвратимое, Жанна его примет. Она покажет, что и в сабо можно быть высокой, для этого не нужно становиться на цыпочки, горе высит само. Теперь же она радуется, и радость эта тиха, целомудренна, ясна.

Наконец, молчание разорвалось, как снаряд, начиненный жужжащей шрапнелью. Кажется, весь Люксем-

бургский сад был засыпан словами. Здесь не было длинных фраз: они слишком часто дышали, и внезапные цезуры обращали рассказ в груды несвязанных восклицаний, ласковых прозвищ, почти заумных слов. Слова эти неслись, как на скачках, стараясь обогнать одно другое хотя бы на слог. Каждую минуту они замолкали, спохватившись, что не рассказали самого важного. Тогда руки договаривали то, что не сумели сказать губы. Это не были слова любви. О своей любви они не могли говорить. Это прозвучало бы, как внезапное признание: знаешь, я дышу воздухом. Но о чем бы они ни говорили, это было только об одном: о любви. Когда Жанна рассказывала о константинопольской гречанке. Андрей понимал: я там без тебя умираю. И Жанна, услышав о сонном Ковне, обрадовалась: и он, и он, как я!..

Была одна опасная минута. Андрей спросил Жанну, как ей живется теперь. Люксембургский сад тревожно насторожился. Даже дрозды замолкли, ожидая ответа, а вода приготовилась к тому, чтобы заплакать. Неужели прозвучит здесь повесть о зловонной конторе на улице Тибумери? Нет, Жанна ничего не расскажет. Она так бережет свою первую радость. Ведь ее слова измучат Андрея, ему и так нелегко. Она промолчит. Она расскажет об этом когда-нибудь, нет, не теперь! И на вопрос Андрея, Жанна коротко, спокойно ответила:

— Ничего. Но мне нужно отсюда переехать. Там для меня нет комнаты. — Это было все, и после этого они начали говорить о будущем.

Андрей на-днях раздобудет деньги, теперь у него нет своих, только партийные. Тогда Жанна переедет в маленькую комнату. Хорошо, если это будет мансарда, с окошечком в небо. Тогда в комнате окажутся звезды. Она хочет читать, много читать. Она должна знать, как работать вместе с Андреем. Андрей будет к ней приходить. О дальнейшем не было сказано ни слова. Нет, только это: будет приходить. Но оба знали: значит, в комнатке будут действительно звезды. Андрей уедет на месяц — другой в Тулон. А летом? А летом в Москву!

Потом они смеялись: ведь девочки, игравшие в серсо, уже ушли из сада. Андрей признался, что он теперь не Андрей, нет, нечто совсем другое. Недавно он был Бататайтисом. Честное слово! Казимиром. Теперь же он студент из Риги, Николай Цислас. Везет на фамилии! Андрей показал даже паспорт, шикарный паспорт, который кичился десятками виз, как генеральская грудь орденами. Из его бумажника выпала тогда карточка. Это была фотография, содранная с упраздненного документа знаменитого Бататайтиса. Андрей сни-

мался в Ковно. На фотографии было все, то-есть, не только лицо, не только знакомая улыбка но и любовь. Карточка не вернулась в бумажник, она незаметно переехала в сумочку Жанны.

Они уже больше не сидели на скамейк, но шли глухой дорожкой, той, что позади бородатого Верлена, возле улицы Асса. Стемнело. Где-то проворчал колокольчик и раздался голос сторожа: «закрывают! закрывают!» Надо было прощаться. Но губы еще не договорили своего и губы волновались: они не хотели расставаться.

Андрей и Жанна сразу остановились. Кругом было тихо и пусто. Давно уже уснули веселые дрозды. Тогда Андрей поцеловал Жанну. Это было глотком воздуха после года в шахте. Если судить даже по быстрой секундной стрелке, поцелуй длился недолго. Жанне же показалось: всю жизнь. Она с удивлением оглянулась: неужели снова жить сначала? Они не улыбались, их лица были суровы. После такой минуты можно было только расстаться, убежать в разные концы темной аллеи. И так как они не сделали этого, губы снова нашли друг друга. На пустой дорожке, под первыми звездами, они стояли и целовались.

Расставшись, наконец, также молча, как и встретились, они через минуту снова вернулись друг к другу. Это было уже у ворот. Сторож сердито гремел ключами. Они хотели еще что-то сказать друг другу, сказать о самом важном, не о том, что у гречанки были смешные усы, не о том, что в Тулоне легко найти комнату. Нет, о другом. Например, о том, что люди дышат воздухом. Они снова встретились на одну минуту, чтобы сказать о своей любви. Великий писатель Жюль Лебо, где же он был в эту минуту? Спрятавшись за будку сторожа, он наверное услышал бы все те слова, которых ему не хватало для его последней книги. Но Жюль Лебо сидел у себя в кабинете. От улицы Сан-Пер до улицы Асса далеко.

Рядом с ними был только старый сторож, но и он ничего не слышал. Громко брякали ключи, а люди говорили очень тихо. Сторожа это не удивило, он привык к тому, что влюбленные, прощаясь вот у этих ворот, говорят всегда шопотом. Но все же они сказали о своей любви. Они выговорили два больших, взволнованных, необычайных слова:

— Андрей!

— Жанна!

Впрочем, может быть, это говорили не они, может быть, это за них говорил Люксембургский сад.

Девушка из бара „Гаверни“.

Засунув четыре пальца в огромную ярко-малиновую пасть, негр Суло свистел. Он старался сегодня особенно громко свистеть: за это ему обещали двойную порцию джина. От свиста у него даже болел живот. Свист этот был ужасен. Вероятно, шакалы, которые водятся на родине Суло, испугались бы его. Посетители бара «Гаверни», однако, чувствовали себя великолепно. Им давно надоело не только скрипки или флейты, но и грохот джаз-банда. Только негр Суло умел приласкать их ко всему привыкшие уши. Это был то задорный, то томительно похотливый свист. Воздух от него становился густым, вязким, душным. И современные Дафнисы, виляя куцыми смокингами, под свист этого соловья, под дикий свист в сто лошадиных сил, могли стремительно и вместе с тем театрально любить взятых на прокат Хлой.

Как только, просыпаясь, взывал барабан, как только Суло подносил палец к пасти, они быстро приподымались и, обхватывая дам, начинали танцевать. Собственно говоря, это не было танцем, они просто очень быстро ходили по узкому бару, прижимая к своим животам тучные груди Хлой. Когда же Суло внезапно менял острый призывный свист на томное сопение, они останавливались и старались в такт тереться друг о друга. Потом снова неслись. Тем из них, которые были еще молоды, после таких прогулок хотелось сейчас же повалить теплых Хлой на узкие диванчики. Но они никогда не делали этого. Наоборот, на их лицах было полное равнодушие безразличных ко всему спортсменов. Они, ведь, были европейцами и хорошо знали, что это только танец, уан-стэп, аперетиф перед любовью, а настоящая любовь произойдет через два часа, не на диванчиках бара, а на мягких, свежее взбитых перин-

ках, в соответствующих апартаментах. Да, вопреки запрету Жанны, все посетители бара «Гаверни» и многих других баров называли свои ночные занятия не иначе, как «любовью». Даже днем разгримированные Хлон, превращавшиеся в Луиз и Антуанетт, беседуя друг с другом о своих профессиональных делах, гозорили:

— Конечно, я беру дорого, но зато умею любить.

Они были по своему правы. Слова тем и хороши, что они могут обозначать самые различные вещи.

О том, что она умеет любить и дорого за это умение берет, любила говорить не Луиза, или Антуанетта, исполнявшие сольные номера, но крошка Марго, у которой кроме любви был и другой, более прозаический заработок. Мужчины, приходившие в «Гаверни» с дамами, садились обыкновенно за столики и спрашивали шампанское. Если они предпочитали ликеры или вино, гарсон презрительно объяснял им, что «Гаверни» не «Виктория», где можно пить даже ром. В «Виктории» нет Суло, туда ходят не изысканные спортсмены, а «макрели», то-есть сутенеры, там на диванах часто разгрываются далеко не аппетитные сцены. Что касается «Гаверни», то это вполне светское заведение. Испуганные таким спичем, гости послушно заказывали самое дорогое шампанское. Но одинокие посетители могли, минуя столики, пройти вглубь бара к стойке и там, восседая на высоких стульях, пить ликеры или же, если они обнаруживали такт и хорошее воспитание, различные смеси, как-то: коблеры, коктейли, флиппы. За стойкой сидела крошка Марго с голубенькими бесстыдными глазами и с золотыми кудряшками боттичелиевского херувима. Марго была дана концессия на этих отдельных посетителей, но за то она опекала и интересы хозяина бара. Когда посетитель спрашивал себе шерри-коблер, Марго нежно переспрашивала: «два?» Марго тоже хотела шерри-коблер и кто мог отказать этому кудрявому херувимчику? Таким образом, ей приходилось в течение одной ночи принимать до двадцати доз всяческих зелий. Она не сразу достигла этого искусства: вначале бывали и разбитые стаканы, и внезапные ртлучки. Но, теперь Марго могла бы потягаться с каким-нибудь голландским боцманом, которому даже в соску вливали не молоко, а виски. Она забыла, что значит быть пьяной. Марго гордилась этим: она умела пить.

Кроме того, как уже было сказано, она умела и любить, то-есть поцелуи ее оставляли столь же безразличной, как и коктейли. Благодаря этому, она никогда не забывалась и аккуратно исполняла все, что только хотели ее клиенты. Пять лет тому назад от первого

поцелуя нантского приказчика она забыла обо всем на свете. За пять последующих лет, Марго столько целовали, что, казалось, ее губы должны были стереться, как бронзовая нога апостола Петра в римском соборе. Естественно, что она хорошо изучила это ремесло.

Но имелись на свете три вещи, производившие впечатление даже на искушенную Марго. Это были особенно непристойные анекдоты, сентиментальные фильмы и кокаин. Зная на опыте гораздо больше того, что имеется во всех самых верных легендах мира, Марго все же оживлялась, услышав какую-нибудь дичайшую историю о садистах или о некромантах. Тогда ее голубенькие глазки начинали шириться и тускнеть.

В кинематограф она ходила всегда одна, так как кавалеры, стараясь использовать темноту во время сеанса, мешали ей сосредоточиться. Когда на экране пьяный муж обижал несчастную жену, безропотно стиравшую пеленки, или когда злой отец таскал за косы дочку, влюбленную в благородного, но бедного юношу, Марго начинала реветь, как крохотная девочка, реветь откровенно, во-всю, в антракте еще горько всхлипывая и сморкаясь.

Что касается кокаина, то он заменял ей и поцелуй и вино. Достаточно было засунуть щепотку волшебного порошка в маленький, капризно вздернутый носик, чтобы почувствовать себя женой американского миллионера Форда, о котором Марго как-то прочла в обрывке газеты. «Коко» (так называли в баре «Гаверни» кокаин) был единственной любовью этой девушки, каждый вечер сидевшей за стойкой.

В тот вечер, когда Суло особенно неистово свистел, соблазненный джином, Марго скучала. Ни один из высоких стульев не был занят. Далеко за полночь появился, наконец, первый клиент. Марго предпочитала не разглядывать людей. Люди ее интересовали только на экране. Поэтому, она даже не взглянула на высокого полного мужчину. Но когда он спросил бутылку Моэт, Марго подумала: это, наверное, иностранец; только иностранцу может притти в голову за стойкой, где допускаются и дешевые напитки, спросить шампанское. У него есть деньги. Марго стала внимательней. Ее голос приобрел новые нежные вибрации. Она пила и смеялась. После шампанского последовал, несколько неожиданно, коньяк. Марго не смутилась. Дальше появились бокалы с густым яичным флиппом. Гость начал хмелеть. Тогда Марго подсела поближе к нему и закинула ногу на ногу. Увидав тонкую, но крепкую икру, в прозрачном чулке, гость заерзал, как-то весь засуетился. Отметив это, Марго нашла возможным перейти

к дальнейшему. Она спросила гостя, не хочет ли он потанцевать с ней уан-степ.

Негр Суло сопел и свистел. Пары стремительно ходили взад и вперед. Марго умела это делать с отменной грацией. Но партнер был далеко не из первоклассных. Он то нелепо прижимал к себе Марго, то отбрасывал ее, задевал другие пары, наступал на ноги. Но больше всего злили девушку его руки. Они проворно сновали по спине, въедались в тело, давили, так давили, что делалось душно. Противные руки! Суло давно кончил свистеть. Все танцоры чинно разошлись по своим столикам. Только высокий господин, тот, что пил у стойки шампанское, все еще не выпускал из рук Марго, тяжело дыша и переступая с ноги на ногу.

Марго не любила никаких эксцентрических сцен. Ведь, на них все глядят! Ей стало неловко. Раздраженная, она сказала своему кавалеру:

— Пустите! Если хотите, мы можем уехать отсюда.

— Хочу, но сейчас же!

Он был пьян, совсем пьян.

— Я потеряла сегодня на улице двести франков.

(Это был обычный способ деликатной Марго уговариваться о цене).

— Хорошо, но скорее!

В комнате вполне пристойного с виду отеля, куда приехали под утро эти запоздавшие к поезду супруги, было жарко. Гость больше ничего не соображал. Он даже не смог оценить всей пятилетней выучки Марго. Своими отвратительными руками он разорвал ее шелковое белье. Марго злилась. Чтобы не раскиснуть, она время от времени подносила к носу большие понюшки кокаина. Она видела раз в кинематографе, как девушка задушила носатого негодяя. Марго казалось, что она тоже может вот сейчас задушить его. Она никогда так много не нюхала. А пьяный гость, напротив, размяк и сделался до нельзя болтливым.

— Ты—цыпка! У тебя все на месте. Я тебе еще сто набавлю. Я сам люблю пожить и другим не мешаю. Есть здесь одна. Это номерок! Я б ей тысячу дал. Будь у меня миллион, я бы ей миллион дал. Не хочет, стерва! Сунулся, так она мне по морде дала. Но я ее заполучу! Я ей ручки пообломаю! Я навалюсь на нее, так она задохнется!..

— Это из «Гаверни» или из другого бара? — спросила Марго безразлично, только чтобы поддержать разговор.

— Это, милочка, вообще из другой оперы. Она брюнетка. Я, вообще, блондинок не люблю. Ты не обижайся.

Тебя я обожаю. Хочешь, завтра опять спать будем. А есть блондинки, так такая пакость, сил нет!..

— Ты не прав, котенок. Вот у нас Луиза совсем светлая, а она очень нравится мужчинам. На ней один американский офицер даже жениться хотел.

— Дурак твой американец! Жениться! Я вот должен жениться, так я как о ней вспомню, блевать хочется. Несчастный я человек! Не везет мне. Вот у того же американца, наверное, долларов уйма. Лучше уж убить кого-нибудь, чем вот так жениться. Я как подумаю, что я должен с ней вдвоем остаться, так у меня мурашки по спине бегают.

Голос его дрожал. Правда ли так мрачна была его судьба? Или может быть, отличался особенной зло-вредной крепостью густой яичный напиток? Во всяком случае, гостю стало чрезвычайно жаль самого себя. Он даже прижал свой породистый, с горбинкой, нос к лоскуткам шелковой рубашенки, как бы ища у Марго защиты. И хотя он был ей в достаточной мере противен, хотя он разорвал ее новое белье, хотя у него были гадкие руки, Марго все же его пожалела:

— Бедненький! На ком же ты должен жениться! На старой американке?

— Хуже! Ты никогда не угадаешь. На слепой!

Марго даже привстала от изумления. Исчезла комната отеля. Ей показалось, что она сидит в кинематографе. Какая это интересная фильма!

— Она и не старая вовсе. Она красавица, что говорить. Но она слепая. Ты только пойми это. И не то, чтобы ослепла, а так родилась. Когда она бубнит что-то, так будто нарочно человека пугают. Я не трус вовсе. Я у себя на родине большевика застрелил. А вот ее боюсь.

— Ты говоришь, слепая и красавица? Но, ведь, это же необычайно! Это страшно! Где это?..

Марго казалось, что такие вещи могут быть только или в Калифорнии или в Алжире.

— Здесь, на улице Тибумери. У ее отца сыскная контора. Это, цыпочка, дело! Капитал какой! Я себя не продам. Я за двести франков штаны спускать не стану. Там, может быть, и миллиончиком пахнет.

Гость перестал хныкать. Его голос теперь звучал радостно и бодро. Но Марго не интересовала сумма капитала. Все ее внимание было направлено к таинственной героине.

— Мой ангелочек, расскажи мне еще что-нибудь о ней. Она, правда, красивая?

— Картина! Если не знать только, что она слепая, так можно с ума сойти. Впрочем, я больше по части брюнеток. Севилья. Испанский зной. Но красива, не спорю. Только к чему это, когда она слепая.

— Но она, должно быть, очень несчастная?

— Еще бы! А ты хотела, чтобы она еще и счастливой была? Да, ей каждый может сапогом по роже дать, как щенку паршивому.

Это сравнение видимо понравилось гостю. Он звонко захохотал. Но Марго все больше и больше расстраивалась. Ведь это же фильма, душу раздирающая фильма! Она уже начала подозрительно сморкаться. Чтобы не разреветься, пришлось снова прибегнуть к «коко». Но даже волшебный порошок на этот раз не мог развеселить ее. Бедная слепая! А гость продолжал. Войдя в азарт, он вскочил с ногами на кровать и начал жестикулировать, как заправский актер. Он был страшен: длинные обезьяньи руки, волосатая грудь и нежно-розовые подштанники. Он казался Марго настоящим злодеем из фильма: вот такие бьют жен, душат богатых старух и заводят в пещеры обманутых девушек.

— Я ее скручу! Я раздавлю ее, тварь такую! Я ее в первую же ночь задушю! Она и не пикнет у меня! Это только пока приходится тон выдерживать, влюбленного из себя корчить. Я ей говорю «душечка», а сама язык показываю. Гляди, вот так. Ей Богу! Она же ни чорта не видит. Я целую, так как будто покойника поцеловал. Губы у меня от ужаса лопаются. Ну, это теперь. А попробует она ко мне после свадьбы сунуться. Я ее в шкаф запру! Я ее в три дня ликвидирую! Я ее, как слепого щенка, в помойку кину!

От жары гость все сильнее пьянел. Он уже не говорил, а кричал. Своими длинными руками он показывал, как будет давить, мять, душить несчастную невесту. Марго, испуганная, забилась в угол.

— А как она влюблена в меня. На коленях стоит. Честное слово! Руки мне лижет. Я вместо Бога ей. А меня тошнит. Вот как сейчас. К горлу подступает. Гадкий этот флипп был. Только бы папашу окрутить, а там я и сам с ней справлюсь.

Марго плакала громко, отчаянно плакала, как никогда еще не плакала, даже когда она смотрела самую трогательную на свете фильму «Сломанная лилия».

— Ты не бойся. Я, ведь, не тебя. А с тобой я еще спать поеду.

— Мне... мне жалко ее! А ты не выдумал это?? Может ты врешь все, чтобы меня напугать? Ты, наверное, это видел в кинематографе?

— Я вру? Дура! Да это же и выдумать нельзя.

Это никому в голову не придет. Ты пойди только на нее погляди, у тебя у самой волосы дыбом встанут. Зайди-ка в контору. Это улица Тибумери, семнадцатый номер. Так ты поймешь, какие страсти на свете бывают. Это же ведьма слепая! Замучила она меня! Я вот аппетит потерял. Три недели к девочкам не ездил. Ну, цыпка, поцелуй меня! Или, знаешь что, поспим сейчас. Что-то мутит меня. Зловредная штука, этот флипп. По-спим, а утром снова повозимся. Хорошо?

Он даже не дождался ответа Марго. Сразу, не накрываясь одеялом, он лег и замер. После минутной паузы раздался звонкий, мелодичный храп.

Но Марго было не до сна. Марго услышала ужасную историю. Марго нюхала слишком много кокаина. Ей хотелось куда-то бежать, спешить, плакать, спасать, подвергаться страшным опасностям, быть героиней фильма. Она быстро оделась. Она не знала, что ей делать. После сеанса в кинематографе можно было, напудрив заплаканную мордочку, итти в «Гаверни». Но теперь итти домой она не могла. Гость спал. На его голый груди подрагивали четыре космы волос. Руки были раскинуты. Да, он настоящий злодей! Марго почувствовала это сразу еще в «Гаверни», когда танцевала с ним уан-степ. Задушить его? Спасти слепую? Марго подошла к нему вплотную и дотронулась руками до его толстой потной шеи. Но тогда ей стало так страшно, что она даже вскрикнула. Гость не проснулся. Нет, Марго трусиха. Она не может его убить. Тогда надо скорее бежать отсюда.

Марго направилась к двери. Что-то вспомнив, она вернулась к стулу, на котором лежал пиджак гостя. Вынув бумажник, она отсчитала двести франков, потом, с минуту колебавшись, прибавила еще сто. На какой-то карточке, лежавшей в бумажнике, она намарала тушью, которой обыкновенно подводила глаза, прощальную записку: «Я взяла двести, те, что потеряла на улице, и еще сто, которые вы обещали. Вы настоящий злодей. Девушка из бара «Гаверни».

Сделав это, Марго быстро выбежала из отеля. Было уже девять часов утра. У нее блестели глаза. Она, что ни шаг, натыкалась на прохожих, злобно ругавшихся. Она плохо разбиралась в улицах. Она страшно спешила. Она еще не знала, куда ей итти, но несмотря на это, она все же боялась опоздать. Добравшись до площади Опера, растерянно поглядела она на людные бульвары, тихонько поднесла к носу еще одну щепотку «коко» и, больше ни о чем не думая, вскочила в автобус, на котором значилось: «Площадь Клиши — Монпарнасский вокзал».

Это не сказки Перро, это и не фильма — это попросту жизнь.

Габриель быстро перебирала спицами: она вязала кашне для жениха. При этом она завидовала каждой шерстинке — ведь шерстинка будет ласкать шею прекрасного принца. А Габриель не может этого сделать. Габриель так редко остается с ним вдвоем. Придет ли он сегодня, как обещал?

За дверью простуженно прыснул провалившийся нос:

— М-м-м Габриель, это вас спрашивают.

Он! Принц! Так рано! Он никогда не приходил утром. Наверное, он почувствовал, как Габриель ждет его, глядя пушистые шерстинки. Он пришел! Но нет, вместо четкого басистого марша просыпался дискантный визг каблучков, скрип шелка, целый хор острых, необычайно пронзительных звуков.

— Кто здесь?

Ответа не последовало. Все звуки как будто исчезли. Наступила полная тишина. Габриель, недоумевая, старалась ухом ощупать комнату. Наконец, она протянула руку к двери и снова спросила:

— Кто вы?

У двери стояла героиня самой прекрасной на свете фильма, девушка из бара «Гаверни», сумасбродка Марго, которая нюхала слишком много кокаина. Она молчала. Рука Габриели пронзала ее, она чувствовала, что надо говорить, но не могла. Когда она бежала по улице Тибумери, слов было много, таких красивых и убедительных слов. Была заготовлена даже первая фраза: «обманутая слепая, я пришла, чтобы спасти ваше несчастное сердце». Она придет в последнюю минуту. Нотариус уже протянет несчастной невесте перо, чтобы подписать брачный договор. Или нет, слепые ведь не

могут писать. Ее просто спросят: «вы согласны», а за ней будет стоять этот злодей и, засучив рукава, уже готовиться своими обезьяньими руками сдавить тоненькую детскую шейку. Марго поспеет, Марго раскроет коварные замыслы. Все будут счастливы. Марго скажут: «останьтесь здесь, живите с нами». Но Марго, как таинственная героиня, даже не назвав себя, уйдет за стойку бара и, только ночью, немного всплакнет. Это будет прекрасно! Так думала Марго, когда бежала по улице Тибумери. Но теперь она молчала, но теперь у нее не было слов. Вероятно, она их потеряла, подымаясь по темной винтовой лестнице.

— Кто вы? Вы ошиблись. Контора там. Здесь живу я, Габриель.

Надо было говорить. И Марго растерянно прошептала, не заготовленную торжественную фразу, нет, нечто весьма простое:

— Я? Я девушка из бара «Гаверни».

— Бар? Что это бар?

Тогда Марго не выдержала. Ей было совсем не весело, говоря откровенно, ей было даже очень жутко. Контора, пишущая машинка, барышня, мирно вязавшая кашне, все это как-то смутило ее. Но, несмотря на это, она рассмеялась. То, что говорила слепая, было слишком смешным. Марго могла понять, что есть люди, которые не знают, что такое пароход или землетрясение. (Марго знала и это). Но не знать, что такое бар, это же смешно! И Марго чистосердечно смеялась.

— Бар? Как, вы никогда не были в баре? Это.. Как вам сказать.. Это вроде вашей конторы. То-есть — туда могут все приходить. Только там весело, там пьют шампанское или коктейли и танцуют. А негр Суло свистит.

— Я не хочу! Я боюсь негров!

— Он совсем не страшный. У него язык, как у кошки, длинный и шершавый. Он страшный сластена, этот Суло. В баре весело. Я сижу за стойкой, и...

Но Марго вдруг вспомнила, зачем она сюда пришла, и прервала свой восторженный рассказ. Собравшись с силами, она прокричала:

— Вы не знаете — он злодей, он настоящий злодей!

— Кто? Негр?

— Нет, ваш жених.

— Неправда! Он добрый! Не смейте его обижать!

Габриель встала и вытянула руки с вязальными спицами. Она готова была защитить свою любовь.

— Выслушайте меня! Он вас обманывает. Когда я сегодня спала с ним...

— Как спали? Вы его сестра?

Марго снова расхохоталась.

— Вы же чудная! Вы крошка! Вы ничего не знаете. Спать это значит — любить. Понимаете? Я ведь только по вечерам сижу за стойкой, а ночью я занимаюсь любовью. Мужчинам это очень нравится. Они хорошо платят. Я зарабатываю этим. Я тружусь. Вчера меня взял ваш женишок.

— Вы лжете. Он не мог любить вас. Он сказал мне, что любит только меня.

Марго разозлилась: вместо того, чтобы благодарить, ее еще обижают!

— То-есть, как это — лгу? Он все белее на мне разорвал, ваш дружок. Нетерпеливый-то какой! Не мог подождать, пока я разденусь. Еще в баре лез целоваться.

Услышав эти слова, Габриель подошла к Марго, взяла ее за руки и очень тихо сказала:

— Не смейтесь же надо мной! Мальчишки из верхней квартиры смеются надо мной потому, что я слепая. Я прошу вас, скажите мне: он вас целовал?

— Конечно. Я свои триста франков честно отработала.

Габриель заплакала. Это были слезы, непонятные для Марго. Она сама любила поплакать, но тогда уже по-настоящему, громко, во-сю. А слепая плакала так, что ее не было слышно, плечи ее при этом не вздрагивали, просто, по спокойному лицу текли слезы, много слез. И не понимая этого странного способа плакать, Марго не знала, как ее утешить. Наконец, Габриель сказала:

— Он не виноват. Это я плохая. Я позавидовала всем. Вы, наверное, лучше меня. Вы не слепая. Пусть он любит вас. Пусть он вас целует. Я ему ничего не скажу. Но, может быть, он все-таки захочет, чтобы я была его женой. Чтобы я мыла пол. Тогда я буду счастлива.

— Замолчите! Вы ничего не понимаете. Вы не должны соглашаться. Он мне сказал, что сейчас же после свадьбы он вас задушит. У него руки, как у обезьяны. Я скажу теперь, зачем я сюда прибежала... Я должна спасти вас! Он вас замурует в чулане! Он на все способен!

— Вы говорите страшные вещи. Почему он меня замурует? Разве я сделала ему что-нибудь дурное?

— Он ненавидит вас. Ах, как он кричал: «зайду, вот возьму и задушу». Он говорил, что любезничает с вами, а сам показывает вам язык. Он говорил, что вы хуже старой англичанки.

— Я ничего не понимаю. Я глупая. Не смейтесь надо мной! Почему же он мне говорил, что любит меня? Почему?

— Какая вы недогадливая. Ведь говорю же я мужчинам, что люблю их, а самой хочется в морду им плюнуть. За это же платят.

— Значит, вы лжете? Это дурно.

— Ну, вы, милая, не очень-то задавайтесь! Лгать всякому приходится. Только я никого не убиваю. А вот он хочет взять ваше приданое и после задушить вас. Его нужно посадить в тюрьму. Ему нужно даже голову отрезать, вот что!

— Он вам сказал, что ненавидит меня?

— Ну, да, — и много раз. Он даже не говорил, он мычал, как бык.

Габриель подняла руки к своим глазам, из которых все текли и текли слезы.

— Пожалейте меня! Я так несчастна. Они у меня... Они не такие, как у всех.

Здесь кончились силы и героини увлекательной фильма. Обняв слепую, маленькая Марго принялась реветь. О, ее слезы не были тихими! Это ревела девочка, оставшаяся без мамы впотьмах. Ей казалось, что она сама не выдержит своего плача, вот возьмет и умрет на месте. Конечно, так вести себя в чужой квартире очень нехорошо. Но что делать: Габриель ведь сама попросила пожалеть ее, а жалеть по другому Марго не умела.

Необычайные звуки, доносившиеся из комнаты до чери, дошли до господина Раймонда Ней. Он решил обследовать, в чем дело. Он застал Габриель с какой-то неизвестной девушкой. Обе стояли посреди комнаты и плакали.

— В чем дело? Я думал, что с тобой твой жених.

— Он не мой жених. Он больше здесь никогда не будет.

— Что ты, с ума спятила? Кто эта особа?

— Это добрая девушка. Она из бара. Она спала с ним. Он ее любит. Он ей признался во всем.

— Из бара? И эта потаскуха смеет являться в семейный дом! Да я ее убью!

О, жиры, представлявшие лицо господина Ней, могли быть страшными! Он походил сейчас на мясника, который свежует барашка. Марго больше не плакала. В ужасе металась она по комнате, ища лазейки.

— Я ничего не сделала дурного! Я хотела только спасти вашу дочку! Пустите меня! Не нужно меня убивать! Я сама уйду отсюда!..

Но не так-то легко было смягчить гнев господина Ней.

— Я тебе покажу, продажная мразь, как честных людей порочить! Гастон! Альфред! Виктор!

На крик хозяина тотчас же явились провалившийся нос и два молодых напудренных сыщика в клетчатых каскетках.

— Возьмите ее! Выкиньте ее!

Габриель кинулась, желая прикрыть собою Марго, но отец мигом скрутил ее.

— Отец, не трогайте ее! Она добрая! Я слышу, что она добрая!

— Дура! Молчать! Ни с места!

Вывернув руки Марго, молодые сыщики потащили ее по длинному лабиринту конторы. Сзади шествовал Гастон и нагло ногой подталкивал девушку. Марго кричала, но это, конечно, никак не могло ей помочь. Зацепившись о косяк двери, Марго потеряла шляпу. Наконец, Гастон, силло захихикав, скомандовал:

— А теперь посильнее и вниз!

Молодые сыщики толкнули Марго и она покати-лась по узенькой лестнице.

А господин Раймонд Ней все еще продолжал гре-меть:

— Как ты смела разговаривать с ней? Изволь, когда придет господин Халыбьев, молчать! Понимаешь ты? Ни слова!

— Отец, я не могу! Ведь он любит ее.

— Ты идиотка! Все молодые люди так развлекаются.

— Он смеется надо мной.

— Ну, что ж, разве ты не слепая? Если бы я не был твоим отцом, может быть, и я над тобой смеялся-б. Благодарю Бога, что он все-таки согласен на тебе же-ниться.

— Отец, сжальтесь надо мной! Я боюсь его!

— Молчать! Как я говорю, так и будет. Никаких разговоров! Когда он придет, изволь улыбаться. Ты слышишь меня? Улыбайся же, слепая овца!

Габриель осталась одна. Халыбьева еще не было. Значит, она могла еще не улыбаться. Значит, она могла еще плакать. Ведь она плакала тихо, слез ее никто не слышал. Она плакала оттого, что добрый принц оказался злодеем, а от любви, от моря, от роз осталось одно приданое, то-есть, сальные бумажки. Она плакала оттого, что мчалась в гости к счастью, а попала назад в эту поганую контору. Она как-то сразу поняла весь ужас, все зловонье этих закоулков. Она слышала, как гнусно хихикал Гастон, избивая бедную Марго. Она

впервые усомнилась в доброте отца. Она плакала оттого, что у нее глаза не такие, как у всех. Нет, она плакала оттого, что теперь у нее, кажется, были глаза, глаза такие же, как у всех. Она забыла про сказки Перро. Она увидела жизнь.

А внизу, в темном дворе, плакала Марго. Она хотела спасти слепую. Она хотела быть героиней фильма. Глядите, глядите же все, как ее обидели! Да, она девушка из бара «Гаверни»! Да, она ездит в номера с мужчинами! Но ведь она же не крадет, она не убивает. Она пришла сюда не ради денег. Она даже потеряла свою новую шляпу. Она запачкала пальто в зловонной жиже, покрывающей ступеньки лестницы. У нее теперь на щеке большой синяк. Она не сможет даже пойти вечером в «Гаверни». Кто ей купить новую шляпку? Она плакала и вспомнила все свои обиды — как ее обманул черноусый приказчик из Нанта, как ее обижали и надували кавалеры, требовали, чтобы она показывала непристойности, тихонько улепетывали, не заплатив за ночь, какие они были противные, потные, злые. Вот этот вчерашний!..

Долго в темном дворе, где вечно чистили трубы, где дико кричал младенец и лились из верхних этажей помои, плакала Марго. Ее никто не пришел утешить. Ее и не мог никто утешить. Ведь вместо фильма ей дали жизнь, эту страшную, черную жизнь, похожую на глухой двор в доме номер семнадцать по улице Тибумери.

О русой девченке.

На площади Бастий были ярмарочные гулянья, и издали большая площадь, исполосованная острыми углами газовых фонарей и густыми внезапными темнотами, казалась сценой феерического театра. Одни флаги чего стоили, сотни пестрых флажков! На этот раз они представляли не враждующие державы, но только веселую радугу; пурпур солнца, кобальт неба, изумруд земли.

На площадь понаехали держатели каруселей, дрессировщики свиней, торговцы фисташками, фокусники, акробаты, изобретатели хитроумнейших подтяжек и даже чревовещатели. Все они зазывали публику в свои палатки, горланили, шутили, ругались, вертели шарманкой и дергали для эффекта особенных, интеллигентных свиней за обыкновенные свиные хвостики, чем вызывали всепокрывающий неистовый визг. Они в четверть часа превратили обыкновенную городскую площадь в таинственную поляну, на которую забрел огромный цыганский табор.

Больше всего было каруселей. На деревянных бегемотах, добродушно скаливших зубы и до чрезвычайности напоминавших господина Раймонда Ней в его лучшие минуты, кружились девушки, визжа при этом и всячески беснуясь. Еще один круг! Всего пять су! Кавалеры, неужели вы пожалеете пять су для этих веселых девушек? У них кружится голова, как будто они выпили много ликера или целовались с вами. Они счастливы, эти маленькие мастерицы из предместья Сан-Антуан.

У кого голова кружилась и без карусели, тот мог направиться в соседнюю палатку. Если у него не дрожали руки, он мог там выудить банку с монпансье или даже бутылку шипучего вина. Этим занимались де-

вушки. Что касается молодых людей, то они предпочтительно стреляли в ухмылявшиеся морды кукол или в глиняные трубки, которые очень быстро вертелись. О, это не война, это много спокойней и веселей!

Для любителей более изысканных наслаждений имелись закрытые балаганы, например, кинематограф, где неутомимый Шарло бьет посуду. Странно, откуда на свете еще берутся цельные суповые миски? Неужели он их еще не разбил? Четыре су за вход! Не жалейте! Миски стоят дороже. Шарло бьет посуду хоть быстро, но абсолютно без шума. Вы хотите шума? — пожалуйста к свиньям! Свиньи совсем не те, что вы видели у себя в деревне. Они в голубых мундирах. Они ездят в кабриолете и даже читают „Petit Parisien“ Это же не свиньи! Это чудо природы! Заходите!

Для самых взыскательных хранился в запасе вот тот большой балаган братьев Шелево. Правда, вход стоил дорого: франк сорок пять. Зато чего там только не было: куплеты о министре-рогоносце, наездница с вольтижками, эквилибристы, которые держат на носу множество стаканов и не бьют их, как глупый Шарло, а напротив, никого не бьют, канатная плясунья, клоуны, даже мартышки.

Господин бригадир, заходите! Один сорок пять, двадцать девять су! Но бригадир предпочел за шесть су зайти посмотреть дрессированных блох: и дешево. и сердито. Что ж, у каждого свои вкусы.

Зазыватели кричали, рвались хлопушки, ученые свиньи визжали. Народу было много. Гулянья удались на славу. Об этом говорили взаимные улыбки и артистов, и публики. Не улыбался, кажется, только один человек. Это был Андрей. Хмуρο морщась, пробирался он среди толпы, не стрелял в цель и не удивлялся интеллигентности свиней. Наверное, попади он сюда в другой день, было бы иначе. Андрей, молодой веселый Андрей, который так хорошо умел веселиться, сам бы влез на бегемота и пошел бы вертеться под шарманку. Но теперь он был мрачен. Плохие новости. За ним следят. Надо менять паспорт. Ночевать нигде. Он должен ехать скорее в Тулон, иначе здесь легко попасться. Сегодня вторник. Хотя бы в четверг или в пятницу. Вот только неизвестно, поспеет ли Пуатра: он ведь тоже хотел ехать. Пуатра единственный человек, через которого Андрей поддерживает связь с организацией. Это хороший работник, настоящий коммунист. С ним дело можно наладить. Но как же глупо засыпаться сейчас, когда еще ничего не сделано!

Веселье на площади Бастий раздражало Андрея. Бегемоты казались ему отвратительными. Он не верил

смеху девушек: прикидываются, а самим наверное вовсе не весело. Боров в мундире напомнил ему буржуа с советского плаката. Брр! Что здесь смешного?! Во всем чудилось одно: пошлость. Это ощущение, похожее на физическую тошноту, вызванную душным кухонным запахом, часто преследовало его в Париже. Тогда с тоской он думал: зачем я сюда залез? В России бывало трудно, но это проходило, как плохая погода. Когда он увидел, как крестьяне в Курской губернии встречали с иконами белых, он почувствовал злобу, злобу, но не отчаянье. Он знал: через месяц увидят, очухаются, будут прятаться в лесах и постреливать в офицеров. Здесь же становилось безнадежно и в ясную погоду, здесь безнадежность, кажется, шла именно от солнца. Рабочие читали статьи в „L'Humanité“ о поддержке России, о солидарности с зарейскими братьями, поддакивали, возмущались правительством, говорили: «мы им покажем», а послѣ шли в кабаки, пили аперитивы, танцевали, играли в трик-трак, и забывали о том, что где-то за стенами кабака, существуют Россия, Германия, борьба, революция. Они, как никак, жили и, живя, старались уже жить в свое удовольствие. Гарсон, еще один пикончик! Вот жаль, что абсент запретили. Идиотское правительство! И Андрею казалось, что запрещение абсента их гораздо больше волнует, нежели вторжение на германскую территорию. И у Андрея тогда опускались руки.

Теперь, глядя на толпу, он видел их. Это они кружатся на бегемотах, хохочут, когда Шарло бьет посуду и апплодируют похабным куплетам. Конечно, у них много задора, но какой же это балаганный задор! Если эквилибрист уронит стакан, они будут в негодовании штурмовать кассу, требуя возврата входных. Подойдет усач полицейский. Покричат и разойдутся. Они метко стреляют в трубки. Но только в глиняные трубки. Нет, эти люди не могут сделать Октября!

Так, глядя мрачно, исподлбья на нехитростные забавы ярмарочных гуляний, шел он по площади. Ни один, даже самый красноречивый зазыватель не сумел приманить этого угрюмого человека в кожаной каскетке. Наконец, обойдя всю площадь, он остановился. Это был темный закоулок, где стояли фургоны, в которых обитали дрессировщики свиней, сами свиньи, эквилибристы, фокусники и прочие увеселители парижских окраин. Он разыскал старый желтый фургон с досечкой: «Бродячий цирк братьев Шелево» и постучался в крохотное окошечко. Тотчас же дверь фургона открылась:

— Кто там?

— Мне нужно видеть м-лле Лизетт.

— Это я.

— Пьерр здесь?

— Зайдите.

С трудом Андрей влез внутрь. Там было темно, пахло дешевой пудрой и тряпьем. Он не мог разглядеть лица говорившей с ним девушки.

— Пьерра нет. Пьерр вчера ночью арестован. Он успел передать мне записку. Он просит сообщить вам, чтобы скорей уезжали. Он в тюрьме Сантэ. Бедный Пьерр!

Нет, Пуатра напрасно сомневался, думая о своей русой девченке. Может быть, она и бывала иногда капризной. С кем этого не бывает? Но по тому, как она сказала: «бедный Пьерр», как задрожал при этом ее тоненький голосок, было и без дальнейшего ясно, что русая Лизетт любит Пьерра, что она впустила его не только в темный фургон, но и в свое сердце.

Андрей был окончательно подавлен ее словами. Пуатра провалился. За ним следят. Надо ехать. Связь с организацией порвана. Возобновлять нет времени. Придется ехать в Тулон, не получив инструкций, ни с кем не повидавшись. Он испытывал страшный упадок сил.

А Лизетт продолжала:

— Молодчина Пьерр! Он не как другие, он не трус. Вы — товарищ Пьерра? Вы — русский? Что же, вы тоже не трусы. О, как я их ненавижу! Мой отец был коммунар. Версальцы ему пробили пулей правую ногу. Теперь, если будет снова коммуна, я тоже пойду стрелять. Теперь-то мы их заполучим!

Андрей смутился. Он, кажется, даже покраснел: в фургоне было темно. Ах, до чего он неправ! Ему стало страшно стыдно не только за свою минутную усталость, но и за то, что он не верил в этих людей. Маленькая русая девченка сильнее и умнее его. Он крепко пожал ручку Лизетт.

— Да, да, конечно! Ваш Пьерр молодец! И вы. И вы тоже! Понятно, мы их заполучим!

— Теперь мне нужно идти, — сказала Лизетт, — Мой номер. Зайдите в балаган. Вы увидите, как я работаю. Зайдите. Пожалуйста, зайдите! Мне сегодня очень не по себе. Я буду спокойней, если вы будете там. Ведь Пьерр арестован... А когда ходишь по канату, нужно быть спокойной, совсем спокойной.

Андрей прошел в первый ряд. Через минуту на арену выбежала маленькая девушка, почти ребенок, в коротенькой юбочке, обшитой стеклярусом. Ее подняли на канат. Она вытянула руки и улыбнулась. Она на-

чала танцевать. Андрей больше ни о чем не думал. Он неся глазом за плясуньей, как будто он мог взглядом поддержать ее. Одну минуту ему показалось, что она падает. Он привстал, готовый броситься на арену. Но, нет, это Лизетт исполняла самую трудную часть своего номера. Она стояла на одной ноге и кивала руками в такт музыке. Директор цирка, старый клоун, единственный из братьев Шелево, ибо другой брат давно умер, стоял внизу и, хлопая стэком, мерно покрикивал:

— Смелей! Смелей!

И, глядя прямо на Андрея, улыбаясь теперь только ему, маленькая Лизетт, дочь коммунара, подруга шоффера Пуатра, весело, бодро крикнула:

— Смелей! Смелей!

Андрей встал. Недавних сомнений как не бывало. Он бодро шагал по площади. Он больше не раздражался, глядя на веселую толпу. Нет, теперь он верил ей, он ее любил. Ведь это же великий парижский народ! Кто знает, может быть, завтра он пойдет до последнего издыхания защищать новую Коммуну. Пусть же веселятся! Пусть стреляют в глиняные трубки! Андрей слышал теперь, как билось сердце славных предместий, рабочее сердце Парижа. Разве не на этой площади санкюлоты танцевали карманьолу вокруг свистящих костров? Разве не здесь — вот на этом углу — сидел старый ветеран сорок восьмого года и раздавал инсургентам—каменьщикам, пекарям, ткачам патроны. И каменьщики, и пекаря, и ткачи знали одно: столько-то патронов для версальцев, а последний для себя. Великий народ! Вот его дочь, дочь Парижа, девушка Лизетт, которая может пудрить капризный носик, которая может даже надувать губки, но которая знает: «мы-то их заполучим». Нет, Андрей здесь не одинок! Надо работать! После-завтра в Тулон.

Андрей мог бы уехать и завтра. Но Жанна?. Он должен повидаться с Жанной. Он зашел в маленький бар. Было пусто, только два сонных старичка играли в шашки. Он спросил кофе, и здесь же у стойки наспех написал Жанне несколько слов. Они должны увидеться завтра.

Когда он пошел дальше, разыскивая какой-нибудь заухудалый отель, где мог бы переночевать, не рискуя показаться подозрительным, было уже темно и безлюдно. С площади Бастий чуть доносились голоса усталых шарманок. Дул теплый, мокрый ветер с Ламанша, от которого губы становились солоноватыми. Ветер этот обещал многое. Все мартовские ночи напролет он

волновал старый город. Андрей остановился и поглядел вокруг себя. Отвесные стены без окон, черное небо, пустота. Тогда русая девченка Лизетт, кричавшая: «смелей», Париж, большая любовь Жанны, революция, Россия, все слилось в нем в одну тяжелую радость человека, который живет, борется, любит.

Необходима сильная ретушь.

Это началось с вечера. Когда m-lle Фальетт принесла липовый чай и спросила, не нужно ли Жюлю Лебо еще что-нибудь, он уже чувствовал первые приступы сердечного припадка. Он даже хотел удержать старенькую экономку, попросить ее остаться с ним переночевать в кабинете. Конечно, m-lle Фальетт согласилась бы, ведь это входило в ее обязанности. Но Жюль Лебо суеверно подумал, что если это сделать, станет еще хуже. С болезнью нужно всегда играть в прятки. Он выпьет чашку чая и ляжет. Он притворится, что (вполне) здоров. Кто знает, может быть, он и вправду уснет?

Давно уже ушла m-lle Фальетт. Давно остыл липовый чай. Жюль Лебо лежал и задыхался. Сердце его резко стучало, оно явно пыталось вырваться вон. От этого было невыносимое томление. Жюлю Лебо хотелось встать, одеться, выйти на улицу, где много воздуха, где легче дышать, где среди прохожих уютно и просто, нет этой неосторожности, нет идолов, нет рецептов и микстур. Но встать он не мог, отекавшие ноги, казалось, уже отделились от Жюля Лебо и только случайно лежат здесь же рядом на диване. Тревога росла. Каждую минуту Жюль Лебо глядел на часы. Стрелка двигалась ужасно медленно. Было все время три часа, ну, три двадцать, три двадцать пять. Утром полегчает, утром будет светло, утром придет m-lle Фальет. Но до утра оставалась еще много. Три тридцать пять.

Вдруг его сердце замерло. Оно вело себя, как пьяница, запертый в клетку, который колотит дверь, бунтит, кричит, а потом сразу валится без сил на досчатый пол. Вероятно, сердце все же работало, потому что Жюль Лебо жил, но ему казалось, что оно остановилось. С трудом дотянулся он до бутылки, стоявшей на ночном столике и жадно выпил горькое лекарство. Но сегодня и дигиталис не мог ему помочь.

Тогда Жюль Лебо снова взглянул на часы, чуть приподнял свою острую, седую голову и сказал вслух, торжественно, как будто его слушали не только эти деревянные истуканы, но и набитые зрителями ярусы громадного амфитеатра:

— Итак, я умираю!

Надо умно и просто умереть, умереть так же, как он жил. Это не может быть страшно. Разве мало в своих романах он описывал смерть, стараясь воссоздать каждый хрип, каждую судорогу? Разве мало он думал о смерти? Для людей она тайна. Для людей все вообще тайна. Им нужны черные и белые боги. Человечество — это огромный детский сад. Среди детворы своей дорогой прошел Жюль Лебо. Он разглядывал этих ребят, порой бранил их, порой гладил по головке, но всегда презирал. Люди умирая трусят, они цепляются за руки живых, или же прячут головы под сутаны аббатов. Жюль Лебо умирает просто, Лебо умирает просто, как рассыпается Акрополь, как опадает ронсаровская роза.

На улице поднялся сильный ветер. Неожиданно хлопнула ставня кабинета. Это было, как резкий стук в дверь. Жюль Лебо машинально ответил:

— Войдите!

Потом он усмехнулся. Кому он сказал? Госпоже смерти. Великолепно! Смерть ведь не члены академического жюри, с ней приходится быть вежливым. Губы Жюля Лебо даже обрадовались: они теперь делали свое привычное дело, они усмехались.

Сердце же снова заметалось. Жюль Лебо хотел вздохнуть, но не мог. Без десяти четыре. Это было томление человека, стянувшего ремни чемодана, который боится опоздать, который вдруг вспоминает, что он забыл какую-то вещь. Чемодан уже выносят. Двери настежь. Обождите! Но что же он забыл? Он пытливо осмотрел большой кабинет. Полинезийский урод нагло подмигивал ему. Вдруг он заметил рядом с диваном длинный лист. Ах, это он писал сегодня, до того, как м-лле Фальетт принесла липовый чай. На листе была одна только фраза, окруженная густым роem помарок: «Люси улыbnулась»; «улыbnулась» было вычеркнуто, той же участи подверглись «молчала», «вздохнула», «заплакала». Оставалось одно слово «Люси». Увидев теперь этот лист, Жюль Лебо вздрогнул от ужаса. Как? Уже смерть? А книга? На чем он остановился? Взять лист! Сейчас же! Писать! Скорее, без передышки! «Люси задыhалась». Нет, это совсем не то! Задыhается он — Жюль Лебо, от грудной жабы, от многих других болезней, задыhается умирая, а Люси ведь не умирала, она лю-

била. Что же она делала? Нет, этого Жюль Лебо не знал. Он с раздражением швырнул на пол лист. Он не будет писать этой книги. Четыре часа. Что же она медлит? Войдите? Милости просим!

А вдруг войдет? Вот сейчас, в эту же секунду? Жюль Лебо закрыть пледом голову. Таким образом, боги не увидели его позора. Они не узнали, что Жюлю Лебо стало страшно. Это был простой животный страх. Он схватился за грудь. Сердце, хоть неровно и слабо, но все же еще билось. Как пусто здесь! Хоть бы пришла m-lle Фальетт. Хоть бы кто-нибудь его для виду пожалел. Великому писателю так страшно умирать! Но нет никого. Почему же у других есть жены, дети, друзья? Тогда простая мысль родилась в его голове, привыкшей лишь к мыслям затейливым и сложным: ведь я же никогда не любил. Откуда мне знать: улыбалась Люси или плакала, узнав, что Поль ее любит? Может быть, она и улыбалась и плакала. Не знаю, Я ничего не знаю.

Да, это открытие было мучительней недописанной книги. Он прожил шестьдесят два года. Сейчас пять минут пятого. Он не узнал того, что кажется людям самым важным и самым прекрасным. Разве не о любви все эти книги? Но, может быть, те, кто их писал, тоже не любили? Проклятые книги! А m-lle Фальетт? К ней иногда приходила племянница, раздражая великого писателя глупым щебетом. Значит она любит. Если она будет умирать, к ней придет эта девочка и заплачет. Это хорошо, когда рядом плачут. Это лучше, чем книги. Почтальон наверное тоже любит, и привратница, и переплетчик. Что же это? Неужели они перехитрили умного Жюля Лебо? Неужели все на свете знали секрет счастья и скрыли это от него? Он остался с книгами и со славой. Он мог когда-то жениться. Да, да, он вспоминает, ему даже говорили об этом. Какая-то барышня. Она, кажется, его очень любила. Потом передавали, что она отравилась. Может быть, следовало бы написать: «Люси отравилась»? Но, нет, ведь Поль был умнее Жюля Лебо, он любил Люси. Жюль Лебо сам не захотел жениться. Он боялся, что любовь отнимет у него время. Он хотел писать книги, много книг. Теперь она была бы рядом. Как звали ту барышню? Нет, он не может вспомнить. Была бы, ну... Люси. Взяла бы за руку: «друг мой, я с тобой». Были бы дети. У привратницы сын в Бордо. Когда она хворала, он приезжал к ней. Была бы внучка. Внучка бы плакала. Плачьте же! Жюлю Лебо будет легче, если кто-нибудь заплачет. Но даже каталунский Христос не умел плакать, его слезы были нарисованными.

Четыре часа восемнадцать минут. Может быть, не поздно? Ведь это же обычный припадок. Он позовет завтра профессора Вэра. Он не умрет. Можно дожить и до семидесяти. Еще восемь лет. Тогда он выкинет все книги. Он поселит у себя племянницу m-lle Фальетт. Он будет баловать ее. Каждый день много конфет и кукол. Он будет петь ей. Ведь мама что-то пела ему. Нужно только вспомнить что. Да, да, у Жюль Лебо была мама, как у всех! Когда он только что, кончив коллеж, понес редактору какого-то журнальчика свои первые стихи, мама сама завязывала ему галстук и руки ее от волнения дрожали. Да, у него была мама! Но что же она пела. Вспомнил! Она пела о птичке, о птичке, которая порхает: „Un oiseau volivolette“ Жюль Лебо хрипло запел и, потрясенные этой необычайной выходкой великого писателя, боги задрожали.

А сердце его металось все отчаянней. Нет, следует бросить глупые мысли! Хорошо, если он протянет несколько дней. Без четверти пять. Но до чего же здесь пусто! Жюль Лебо почувствовал необходимость вспомнить какое-нибудь живое человеческое лицо. Он так давно не видал людей. Сморщенное, птичье личико m-lle Фальетт не в счет, она, как эти идола. Вот тот русский. Жюль Лебо увидел хорошую улыбку Андрея и сам в ответ попытался улыбнуться, но получилась только привычная усмешка. Как он шагал. Он тоже перехитрил Жюль Лебо. У него революция. Хорошо так шагать. Они не напрасно живут, эти странные люди. Наверное им не так страшно умирать, как Жюлю Лебо. А, может быть, это только новая сутана, чтобы зарыться головой? Все равно! Жюль Лебо больше не может быть философом. Он просто стар. Он болен. Он умирает.

Нет сил вздохнуть. Надо вздохнуть, иначе он умрет сейчас же. Где же сердце? Почему его больше нет? Здесь душно! Он задыхается. Если он умрет задохнувшись, то это как Золя: с высунутым языком. Надо открыть окно. Но как дойти? Скорее! Только — взглянуть на часы. Уже шестой.

Жюль Лебо слез с дивана. Отекшие ноги не хотели идти. Тогда он пополз. Он полз долго, задыхаясь, весь мокрый от пота. Он зацепился за полку с книгами. Он еле дополз до окна. Сбрав все свои силы, он вытянулся и раскрыл его. Окно было большое, прямо с полу. Он лежал и старался дышать.

Дул мартовский сырой ветер с Ламанша, тот ветер, который волновал старый город, который радовал и живил Андрея. Но Жюлю Лебо он не дал облегчения. Он обдувал его, но не доходил до легких. Ветер насме-

хался над ним. Как? Плавать в море и умирать от жажды?? Лежать на этом ветру и задыхаться? Это ветер стучал ставней. Это смерть.

Обозначился рассвет. Подступало какое-то разрешение. Это был час, когда Андрей и Жанна спали крепким, хорошим сном, когда также спали все молодые и здоровые люди, когда в госпитале «Матерните», что на улице Асса, раздавался писк новорожденных, а в другом госпитале «Отель-Дье», что возле Нотр-Дам, на койках умирали старики, отжившие свою жизнь. Это был час слома, час величайшего человеческого томления. Жюль Лебо не знал этого: ведь он больше не глядел на часы. Он все еще пытался вздохнуть. Мысли его путались. Вдруг ноги, доселе неподвижные, сами задергались. Ему показалось, что он бежит. Это — улица Сан-Пер. За ним гонятся. Надо свернуть направо, по бульвару Сан-Жермен. За ним гонятся боги, черные и белые. Он убежит. Еще два дома. Там кто-то стоит. Мама. Барышня. Племянница m-lle Фальетт. Коммунист. Пойдите! Он хочет жить! Он хочет любить! Он не может сейчас умереть!

Ему казалось, что это жизнь и бегство, но это было агонией.

Передернувшись, он послушливо замер. Еще шевелились губы, привыкшие усмехаться. Еще сердце, кончая счет, несколько раз слабо простучало. Потом больше ничего не было.

В кабинете, переполненном утренним веселым светом, на полу, возле раскрытого настежь большого окна, лежал великий писатель Жюль Лебо. Его лицо выражало такую тоску, такой страх, что, войдя в кабинет, m-lle Фальетт дико вскрикнула и выбежала вон. Ей не было жаль Жюля Лебо. Он был стар, сух и неприветлив. Но это лицо!.. И, вспомнив гримасу на лице покойника m-lle Фальетт заплакала.

Потом она подумала о своих обязанностях. Она побежала к телефону. Давно уже она условилась с редактором газеты «Матэн», что ему первому сообщит, когда с Жюлем Лебо случится ожидаемое всеми несчастье. Выслушав ее, редактор сказал:

— Это национальный траур. Сейчас я пришлю к вам хроникера и фотографа.

После этого он сел писать некролог:

«Сегодня ночью тихо и спокойно угас величайший «ум, полный иронии»...

А хроникер и фотограф, войдя в кабинет, где Жюль Лебо лежал уже убранный, вздрогнули: ведь с лицом великого писателя ни m-lle Фальетт, ни помогавшая ей привратница не могли ничего поделать. Губы, всю жизнь

усмехавшиеся, эти губы теперь кричали: «я хочу жить! мне страшно умирать!». И фотограф растерянно спросил хроникера:

— Можно ли это снимать? Что скажет публика? Разве это лицо автора «Злоключений господина Бегемота»?

От присутствия покойника, от его искаженного лица хроникеру было невыразимо жутко, язык его заплетался. Он еле-еле выговорил:

— Необходима... необходима сильная ретушь.

Жиры тоже умеют волноваться.

Чтобы руководить сыскной конторой, надо обладать хорошим трудолюбивым сердцем. Эта профессия не сулит покоя. Кажется, легче быть премьер-министром или даже генералиссимусом. Это очень трудная профессия. Нередко в течение одного дня приходится пережить столько надежд и разочарований, что простому человеку, обыкновенному смертному их хватило бы на всю жизнь. Вот хотя бы один день — это была среда, шестого марта — один короткий день, пережитый уважаемым Раймондом Ней, разве он не достоин сам по себе стать темой и трагического и назидательного романа?

Волнения начались с той минуты, когда провалившийся нос, запыхавшись от избытка чувств, сообщил господину Раймонду Ней, что в контору пришел американец, настоящий богатый американец. Это ли не событие? В контору, где даже ржавые перья бережно хранятся, по доброй воле явился человек с целой коллекцией зеленых и желтых бумажек. Это ли не чудо?

Часто думают, что богатый американец, это не реальность, а только сон, который снится заплаканным бесприданницам, проматывшимся картежникам и еще министрам финансов бедных, но честных государств. Ошибочное суждение! В контору на улице Тибумери явился живой американец, и, как уже было сказано, весьма богатый, явился днем и отнюдь не во сне. Это был почтенный мистер Джекс из штата Индианы.

Мистер Джекс, знавший немало французских слов, произносил их, однако, так, что оторопевшему Гастону они даже показались самыми настоящими английскими словами. Но в конторе частного розыска умели соображать. Мистер Джекс потребовал секретной аудиенции, и таковая была ему немедленно предоставлена.

Мистер Джекс изложил господину Раймонду Ней сущность своего потрясающего дела. Он приехал в Европу развлекаться. Это в порядке вещей. Но в Европе, точнее в Париже, случилась небольшая неприятность. Может быть, мистеру Джексу не понравилась Европа? Может быть, ему подали в отеле Карлтон несвежий бифштекс? Может быть, какая-нибудь звезда «Мулен Руж» или «Гаверни», с которой он провел ночь, оставила ему неподходящие сувениры? О, нет! Совсем другое. Значительно серьезней. Мистер Джекс приехал со своей супругой. У миссис Джекс было кольцо. То-есть у нее, конечно, было много колец, но одно отличалось особенной ценностью. Там был бриллиант в восемнадцать каратов.

Услыхав эту цифру, господин Раймонд Ней почувствовал нечто вроде озноба. Его жиры выделили обильный пот.

Колье сломалось. Колье, то-есть, застёжки кольца часто ломаются и не только в детективных романах. Мистер Джекс отдал его починить ювелиру Брие, на улице Сан-Онорэ. И что же, бриллиант исчез! Это, очевидно, случается тоже не только в уголовных фильмах. Мистер Джекс позвонил господину префекту. Полиция обыскала квартиру Брие. Ювелира даже посадили в тюрьму. Но бриллианта при этом не нашли. Если господин Раймонд Ней отыщет этот маленький камешек, он получит вознаграждение в размере... В размере восьмидесяти тысяч долларов, что составляет по курсу дня около миллиона франков.

От этой второй цифры уравновешенное сердце господина Раймонда Ней под всеми жирами учинило совершенно неприличный дебош. Ему даже стало душно, он тихонько расстегнул и не одну, но все четыре пуговицы жилета.

Настоящее светопреставление началось, когда американец отбыл. Провалившийся нос был вызван в кабинет для секретных инструкций. Сыщикам выдавались даже проездные на автомобили. Телефон не замолкал. Все пути были испробованы. После второго завтрака, за которым господин Раймонд Ней не съел даже одной тарелки сала, безнадежность сменила недавние упования. Бриллианта не было. Что из того, что в нем восемнадцать каратов? Какая от этого польза господину Раймонду Ней? Караты достанутся хитрому ювелиру, который рано или поздно выйдет из тюрьмы и получит в некий шкаф стопу ассигнаций. Миллион вознаграждения! Да, это баснословно! Но господин Раймонд Ней все равно его не получит. Мистер Джекс мог обещать хоть и два миллиона — обещать ведь не трудно.

Но как найти крохотный камешек, похищенный четыре дня тому назад? Вздор! Господина Раймонда Ней просту надули. Он уже истратил двести с лишним франков на поиски, он обещал сверхурочные всем служащим. Вернет ли хоть эти деньги американец? Одни расходы! Одни неприятности!

Жиры морщились. Жиры ежились. Жиры жаловались на свою безотрадную судьбу.

Но тогда наступило новое событие, еще сильнее нежели восемнадцать каратов, взволновавшее господина Раймонда Ней. Среда, шестое марта — была действительно роковым днем.

Вестником второго несчастья явился портной, самый ерундовский портняжка с бульвара Пор-Рояль. Он пришел за справкой, за маленькой справкой. Ему хотят заказать целый гардероб: смокинг, два костюма, еще один спортивный, жилет, всего на восемь тысяч франков. Оговорка: клиент просит оказать кредит. Празда, клиент внушает доверие, но скептик портной не любит никаких внушений. Он предпочитает заплатить за справку.

Обыкновенно господин Раймонд не вмешивался в такие мелкие дела. Это входило в обязанности Гастона. Но сейчас Гастона в конторе не было. Да и вообще там продолжалась вызванная мистером Джексом суматоха. Поэтому сам директор выслушал портного.

— Превосходно. Это будет стоит пятьдесят франков и издержки. Как фамилия вашего клиента?

— Это очень трудная фамилия, я никогда не смогу ее выговорить. Вот, посмотрите, она у меня записана.

Взглянув на записку, жиры заколебались и опустились на предупредительно подставленный одним из сыщиков стул. Выпив стакан воды, господин Раймонд Ней тонким, несоответствующим ему голосом шепнул молодому Альфреду:

— Поезжайте сейчас же на авеню Анри-Мартин, номер девяносто два. Узнайте, живет ли там вот этот человек и как он котируется? Словом, вы меня понимаете..

И господин Раймонд Ней передал Альфреду записку, полученную от портного.

Альфред вернулся только в шесть вечера, то-есть, проезжал два с лишним часа. Эти два часа господин Раймонд Ней просидел в конторе на том же стуле, просидел молча, тяжело, отрывисто дыша. Когда же Аль-

Фред вернулся, он, показав ему пальцем на рот, прошел с сыщиком в кабинет. Там Альфред доложил о результатах своей разведки.

Тот господин больше не живет на авеню Анри-Мартин, девяносто два. Привратница говорит, что это картежник и вообще подозрительная личность. За квартиру он не платил целый терм. Две недели тому назад он проигрался в пух и оставив привратнице вместо денег смокинг, переехал в маленький отель на улице Мутон-Дюверне. Альфред был и там. Жилец на плохом счету. За комнату не платит. Требуется в долг вино. Отель отвратительный. Его комната стоит всего 3 франка в сутки. Этому портному можно дать вполне определенный ответ.

Тогда господин Раймонд Ней не выдержал:

— Что портной? При чем тут портной? Я пострадал! Я — Раймонд Ней! Он каждый день здесь ужинал. Он взял у меня четыреста франков займа. Он насмеялся над сединой отца. Я раздавлю его!

Но вместо отсутствующего обманщика, господин Раймонд накинута на телефон, как будто в его намерения входило раздавить именно его:

— Гобелен, семнадцать ноль два. Это банкирская контора господина Жюни. Говорит Раймонд Ней. Вы помните, я как-то спрашивал у вас об акциях «Эверс»? Да, да. Еще в ноябре. Вы помните? Вы обещали разузнать. Да, да, русские. Нет, это нефть. Вы говорите большевики? Нет, англичане. Я ошибаюсь? Вы говорите, что я ошибаюсь? Ничего не стоят? Ничего?

Кинув трубку, господин Раймонд Ней тупо оглядел пустой кабинет. Только несгораемый шкаф его не предавал. И оскорбленные жиры нежно прильнули к возлюбленному шкапу.

Через некоторое время в кабинет постучался Гастон. Проблеск надежды: а вдруг бриллиант? Но провалившийся нос был мрачен. Высунув язык, он обшарил всю квартиру ювелира: камешка не было.

— Пойдите туда снова! Ищите! Ищите всю ночь! Найдите его! Вы должны его найти! Я дам вам сто тысяч франков, если вы его найдете. Вы знаете, что...

Блестящая мысль мгновенно озарила утомленные жиры.

— Я знаю, что ваша бедная супруга страдает раком. Я знаю, что она умрет не позже, чем через год. Так мне сказал доктор. Вы останетесь с двумя дочками на руках. Найдите бриллиант и тогда я вам отдам Габриель.

Она слепая, но она любит детей. И потом вы тогда станете моим компаньоном. А после моей смерти вы получите вот это.

И господин Раймонд Ней ласково потрепал стенку шкапа.

— Но ведь у m-lle Габриели есть жених?..

— Он не жених! Он жулик! Он прохвост! Он.. «азербейджан»!

Банк сорван.

Халыбьев шел к невесте в самом безмятежном состоянии духа. Правда, у него в последнее время были кое-какие неприятности. На следующий день после того, как он кутил, так роскошно кутил с Марго, произошла маленькая катастрофа. Это было в казино «Мартини». Остатки прежних богатств, а именно три тысячи франков, были проиграны в течение одного часа. Последняя надежда мелькнула, когда Халыбьев держал банк. В банке скопилось свыше двух тысяч. Но какой-то нахальный перс докупил карту, усмехнулся и спокойно засунул две тысячи в жилетный карман.

Комнате в отеле Мутон-Дюверне не отличалась удобствами. Пожалуй, она ничем не была лучше знаменитого номера в феодосийской гостинице «Крым». Даже гарсон Луи характером напоминал скупого Аристарха. Даже клопы кусали его, эти твари не признавали государственных границ. Но все же Халыбьев отнюдь не падал духом. Ведь тогда в Феодосии ему приходилось сочинять какие-то бумажки, выслушивать оскорбления наглого дипломата. А теперь перспективы были самыми радужными. На семнадцатое назначено бракосочетание. Конечно, слепая становится с каждым днем все более жуткой. Она теперь вовсе перестала разговаривать с Халыбьевым, она просто онемела, как будто ей мало одной слепоты. Но это вздор. На это не стоит обращать внимания. Вот только бы справить свадьбу, а после... Первым делом, деньгами или хитростью, но он должен заманить ту брюнетку, кузину слепой. Он не успокоится, пока ее не получит. Пикантная особа! Но это после. А сегодня надо у будущего тестя признать немного, ну, хотя бы тысячу франков. Тогда можно катнуть к той дурочке из «Гаверни», она знает веселые штучки.

Со столь игривыми мыслями вошел Халыбьев в квартиру Ней. Его впустил сам глава семьи. Загородив своей

массой дверь, которая вела в комнату Габриели, господин Раймонд Ней глухо рывкнул:

— Мне нужно с вами побеседовать и наедине.

Халыбьев улыбнулся: удивительно кстати. Там я у него и попрошу тышченку.

Беседа не была длительной. Говорил только господин Раймонд Ней. Халыбьев молчал. Нет, он не попросил у господина Раймонда Ней денег займа. Его апломб сразу исчез. Он был до чрезвычайности жалок. Эта беседа никак не походила на триумф первой встречи. Работа четырех месяцев пропала даром. Услыхав слова «улица Мутон-Дюверне», «справка», «акции», Халыбьев начал пристально вглядываться в дверь. О, он был достаточно умен, чтобы не возражать. К чему театральные сцены? Надо убираться во-свои. Но что же? Неужели снова холодная комната в отеле, а вместо Марго из «Гаверни», горький сон натошак, под сальной периной, прерываемый атаками насекомых? Несчастный Халыбьев, смирись! Ты продулся, продулся вконец, всякий мелкий сыщик, щенок в каскете и тот Крез по сравнению с тобой.

И Халыбьев, наконец, заговорил. Его голос рыдал. Это было подлинное отчаяние.

— Великодушный господин Ней, я виноват перед вами. Я не оправдываюсь. Я прошу об одном: о снисхождении. Пожалейте меня! Я низко пал. Я очень несчастен. Когда-то, у себя на родине, я был честным человеком. У меня был банк. Вся Москва верила мне. Все говорили: «ну, раз Халыбьев обещал, можете быть спокойны». Меня ограбили большевики. Они отняли у меня все. Даже портрет моей покойной матушки. Вы видите — я плачу, вспоминая об этом дне...

Действительно, глаза Халыбьева вспотели. Таких высот не достигал ни один трагик мира. Но жиры господина Ней были непоколебимы. Он пробурчал:

— Большевики, конечно, бандиты, но вы тоже большевик.

— Нет, господин Ней, вы вправе всячески оскорблять меня. Вы можете сказать, что я обманщик, что я шарлатан. Но вы не должны меня называть большевиком. Я боролся, я боролся на смерть с этими разбойниками. Я своими руками уложил трех большевиков. Я был ранен в ногу. Если бы не милосердная Франция, я бы погиб. Господин Ней, войдите в мое положение. Я на чужбине. Я беженец. До сегодняшнего дня я не решался признаться вам, что я нищ. Я боялся вашего презрения. Представьте на минуту себя в моем поло-

жении. На одну только минуту, представьте, что здесь происходит революция, что коммунисты у вас все отбирают...

Господин Раймонд Ней в негодовании прервал его:

— Нет, здесь этого никогда не может быть! Нет, у нас есть полиция! У нас много полиции!

Он заслонял собой любимый шкаф от ужасных призраков. А Халыбьев продолжал:

— У нас было мало полиции. У нас полиция не сумела защитить порядочных людей. Я потерял все, завтра я должен буду пойти мыть стекла в ресторанах или чистить на улицах сапоги. Сжальтесь надо мной, дорогой господин Ней! Ссудите мне небольшое пособие. Я прошу у вас немного. Всего одну тысячу франков. С этими деньгами я смогу начать маленькое предприятие. Я стану на ноги. А когда в России кончится, наконец, эта злодейская революция, я верну вам мой долг, я верну его вам сторицей. Я подпишу сейчас же вексель на сто тысяч франков. Ваша доброта не останется без награды.

Бедный Кастор из Черкасского переулкa, он доигрался до того, что перестал различать карты. В наивности думал он своим красноречием пробрать эту прямо-таки музейную неподвижность жиров. Кто знает, а вдруг даст?... Раз сразу не выгнал, это уже благоприятный симптом. Мог и побить. Вдруг даст? Тогда Халыбьев поедет в «Гаверни», напьется вдрызг, забудет все на свете, а завтра... Завтра что-нибудь вывезет.

Но разумеется совсем не сентиментальные соображения удержали господина Раймонда Ней от того, чтобы сразу не выкинуть Халыбьева вон, как он выкинул бедную Марго. Сострадание? Оставьте! Разве сострадание приносит проценты? Нет, господин Раймонд Ней далек от таких глупостей. Но выкинуть человека легко, а использовать его труднее. Если ржавое перо и то может пригодиться в хозяйстве, то тем паче умный человек. Он сейчас в пиковом положении, значит он на все согласится. Господину Раймонду Ней давно уже нужен русский сыщик. Вот этого можно нанять за бесценок. А таланты у него на лицо. Как он здорово обошел самого господина Ней! Подстроил референции. Может быть, подговорил и служащего в банке. Да, этот тип далеко пойдет! Его можно сделать помощником Гастона.

— Пусть вам помогает правительство, пусть вам помогает Лига Наций, чорт побери! Я сам нищий. Я хожу в порванных ботинках. Тысяча франков! Вы знаете, что это тысяча франков? Это пятнадцать пар ботинок!!

Вы и так зажулили у меня четыреста, не считая ужинов. Я ничего вам не дам. Я ни одного су вам не дам. Но я не изверг. Я порядочный человек. Вы слышите: я порядочный человек! Я не выкидываю вас, как сделали бы другие. Я вхожу в ваше положение. Я предлагаю вам место в моей конторе. Вы ничего не понимаете в сыске. Вы неуч. Но у меня много дел среди ваших же компатриотов. Вы будете следить за русскими и ради русских. Это национальное дело. У меня опытные сыщики получают триста в месяц. А вам я сразу кладу двести. Вы слышите меня? Я действительно великодушен, чорт поberi! Я раззорюсь от своего великодушия. Только без благодарностей, я и так сегодня взволнован.

Но Халыбьев и не думал благодарить господина Раймонда Ней. Двести франков! Да он больше дал какой-то девченке из «Гаверни» за одну только ночь. Нет, лучше уж убить кого-нибудь. Халыбьев не создан для жалкого прозябанья.

Халыбьев встал. Это не был больше жалкий шулер, накрытый на передергивании. Это была статуя, мраморная статуя, изображавшая гордость. Он даже облокотился о стол, как о выступ колонны. Он напоминал портрет императора Николая I, висевший в актовом зале классической гимназии, где когда-то воспитывался Халыбьев. Он ронял великолепные слова, полные сарказма.

— Вы ошиблись, милостивый государь. Вы жестоко ошиблись. Вы думали, что перед вами апаши или лавочник. Перед вами потомственный дворянин. Мой дед во время Отечественной войны был комендантом Лилля. Вы могли бы гордиться моим присутствием. Даже нищий аристократ выше знавшегося хама. Запомните, сударь, что бывший предводитель дворянства, лейб-шеф, почетный кавалер Никифор Халыбьев не может быть сыщиком. Засим честь имею откланяться.

Ошеломленные жиры не сумели даже шелохнуться. Трансформация несчастного просителя в какого-то надменного лейб-шефа была слишком необычайной. Долго после ухода Халыбьева господин Ней не мог опомниться. Наконец он растерянно огляделся: слава Богу шкаф был на месте. Тогда он задумчиво промышчал:

— Да, этот человек далеко пойдет. Может быть и стоило ему отдать Габриель. Но, нет, мне нужен компаньон с деньгами. Я нищий, чорт возьми, я нищий! У меня весь капитал в обороте!

Выйдя с лицом независимым и величественным из кабинета господина Ней, Халыбьев очутился в лабиринте конторы. Там было пусто. Все сыщики, юные и ста-

рые, мобилизованные для розысков бриллианта, метались по городу. Только в одном закоулке сидела Жанна. Увидав ее, Халыбьев, несмотря на все потрясения, кокетливо оправил волосы и ухмыльнулся. Он подошел к девушке. Терять было нечего: все равно он здесь в последний раз.

— Чаровница, я должен, наконец, изъясниться. Ваши глазки лишили меня покоя. Я — северный медведь. Я люблю южную температуру. Я больше не жених этой слепой. Я вольный человек. Я как птица. Вы тоже свободная птица. Словом, приходите ко мне сегодня в гости. У нас будет, так сказать, цыганский табор. «Я цыганский барон»...

— Я вас прошу никогда не подходить ко мне, — крикнула Жанна.

Тогда Халыбьев своей быстрой рукой вцепился в плечо девушки. Она вырвалась и убежала. Халыбьев крикнул ей вслед:

— Хуже будет! Я тебя поймаю, недотрога! Я тебя в три счета разложу!

Вдруг он увидел, что Жанна убегая оставила на столике сумочку. Он деловито залез в нее. Нет, он не собирался выкрасть два франка на бутерброд с колбасой. Иные, более патетические чувства терзали его: он ревновал. Поэтому из сумочки он поспешно извлек все ее духовное содержание, а именно: какую-то записку, написанную по-русски и маленькую фотографическую карточку. Спрятав добычу в карман, он похабно выругался и направился к выходу.

На темной вонючей лестнице, под газовым рожком он прочел похищенное письмо. Кто-то неизвестный (подписи не было) писал Жанне: «Встретимся завтра. Мне надо быть очень осторожным. Все подготовлено. Деньги будут. Жду в восемь, где условились. Послезавтра еду. Смелей!»

Текст письма несколько озадачил Халыбьева. Подозрительная история! Он с любопытством взглянул на фотографию. Это была маленькая карточка, вырезанная из паспорта, на углу ее виднелись следы какой-то печати. Широкое лицо весело улыбалось. Эта улыбка раздражала Халыбьева. Сразу видно, что это ее любовник. С ним она, небось, иначе разговаривает: «еще», да «еще», а мне «пошел вон». Разве я не лучше этого болвана? Да, но там деньги. Ведь он же пишет: «деньги будут». Спекулировал человек и заработал брютеточку. А у Халыбьева нет даже ста франков, чтобы поехать в «Га-

верни». У него нет даже десяти франков, чтобы напиться в первом попавшемся баре.

Халыбьев стоял на лестнице и злобно вглядывался в карточку соперника. Этот счастливчик улыбается. Он улыбается, как тот перс в «Мартини», докупивший одну карту и сорвавший весь банк. А Халыбьев на черной лестнице. А у Халыбьева впереди холодная комната и презрительное сморканье гарсона. Сейчас семь часов. Через час тот нахал будет целовать брюнеточку. А он? А Халыбьев?.. А он погиб: банк сорван.

О подозрительных сборах и о вполне добродетельном ужине.

Все сложилось так, как предвидел это Халыбьев. Гарсон Луи, не пожелав даже войти в обсуждение вопроса о литре вина, только насмешливо высморкался. В номере было еще по зимнему холодно. Не раздеваясь, Халыбьев завалился на большую двуспальную кровать, покрылся периной и стал обдумывать, что же ему теперь предпринять. Спать он не мог, во-первых, было только девять часов вечера, во-вторых, уснуть натошак не так-то просто, а Халыбьев со вчерашнего дня, когда он еще мирно обретался на положении жениха Габриели, ничего не ел. Что же делать? Он давно распродал все свои вещи. Портсигар? Нет, никогда! Пока с ним портсигар, он — дамский любимчик. Факт! Пока с ним портсигар, жива даже надежда, что и та недотрога смягчится. Портсигар отдать он не может. Но что ж тогда делать?

Кажется, он черезчур погорячился. Не учил ли его добрый Нейхензон: «раньше, чем сказать слово, надо произвести хорошенькую калькуляцию — а сколько это слово может принести дохода, а не будут ли от этого слова убытки?» Он забыл наставления осторожного Поллуksа. Конечно, этот француз унизил его. Конечно, быть частным сыщиком как-то неблагоприятно. Одно дело управлять почтенной конторой, другое самому рыскать по городу. Пожалуй, сыщика не пустили бы и в «Охотничий клуб». Все это так. Но что же делать? Бедность не порок. Халыбьеву приходится унижаться. Сейчас все порядочные люди унижаются. Он только разделяет общую судьбу. Он унижается, как и вся Россия. Конечно, служить за двести франков глупо. Но можно взять аванс, а потом... А потом легко заработать и двести тысяч. Главное втереться. Там обдeldывают лакомые делишки. Если, например, получить одно адюльтерное, ни-

кому об этом не сказать, пугать всех, а деньги — себе в карманчик. Нет, глупо было отказываться. Надо сейчас же уладить это.

Халыбьев вылез из-под перины и первым делом тщательно обыскал все карманы. Оказалось ровным счетом девять су. Можно выпить у стойки чашечку кофе. Он быстро, стараясь не столкнуться с Луи, спустился вниз и зашел в соседний бар.

— Чашечку кофе?

Хозяйка знала Халыбиева, и приветливо улыбаясь, она спросила:

— Как всегда? С ромом?

— Нет, сегодня без рома. Сегодня у меня болит голова.

(С ромом стоило шестнадцать су, семи су не хватало).

Хлебнув кофе, Халыбьев прошел к телефону. Он позвонит господину Ней, он скажет, что согласен на все, он попросит небольшой аванс, ну хотя бы пятьдесят франков.

Халыбьев назвал номер. В ответ он услышал глухую дробь звонка. Через минуту раздался незнакомый голос:

— Алло?

Тогда другой, уже чрезвычайно знакомый, отозвался:

— Это я. Добрый вечер, мистер Джекс.

Халыбьев молчал. Его присоединили третьим. Он не положил, однако, трубки. Может быть, это было последствием принятого только что решения не брезгать и сыщическим ремеслом, а может быть, его попросту одолело обыкновенное человеческое любопытство. Если бы существовали специальные абонементы на право подслушивания чужих разговоров, то, думается, желающих нашлось бы немало. Так или иначе, но Халыбьев трубки не опустил.

Один из беседовавших, тот, кого другой назвал мистером Джексом, говорил по-французски очень плохо. Все гласные у него были похожи на одно «э», к тому же весьма сомнительное. •

Халыбьев с трудом понимал его, впрочем, разговор был недлинным.

-- Дорогой мистер Джекс, поздравляю вас. Радостное известие. Ваш бриллиант найден.

Даже, слыша этот голос на расстоянии нескольких километров, легко было догадаться, как вскипают от нечаянной радости довольные жизнью жиры.

— Его нашел Гастон. Это наша гордость. Это гор-

досье Парижа. Завтра его фотографии будут во всех газетах.

— Но где же он нашел его?

— В животе попугая. Вы ведь знаете попугаев, это очень прожорливые...

Мистер Джекс прервал его:

— Простите, мне некогда. Вы мне расскажете об этом завтра. Я заеду к вам утром, в десять часов. Я привезу, как было условлено, чек на восемьдесят тысяч долларов. Остерегайтесь, чтобы у вас не выкрали каменья ваши же служащие...

— Но, мистер Джекс, мои служащие...

— Простите, мне очень некогда. Я еду в театр. Завтра в десять. До свидания.

Голоса пропали. Теперь Халыбьев мог бы снова позвонить господину Раймонду Ней. Наверное его номер теперь был свободен. Но он этого не сделал. Он отошел от телефона. Он даже не допил кофе. Быстро расплатившись, он вышел из бара и направился к себе в отель. На его лице блуждала вновь та улыбка, которой были отмечены и вечера в номерах «Крым», и козастиннопольский притон, где он встретился с пугливым евреем, и каюта старой мисс, улыбка, как уже указывалось, чрезвычайно редкостная, вдохновенная улыбка. Зайдя в отель, он не только не прятался, как обычно, от Луи, но даже сам разыскал его. Безо всяких колебаний протянул он гарсону заветный портсигар.

— Это золото. Это стоит по меньшей мере тысячу франков. Обстоятельства складываются так, что я принужден его продать. Я только что получил известие, что моя мать, которая находится на излечении в Ментоне, при смерти. Я очень взволнован этим. Мне надо ехать сейчас же. Я должен хозяйке по счету восемьдесят франков. Я продам вам эту штуку за триста. Вы дадите восемьдесят хозяйке, возьмете двадцать себе, а двести будет мне на дорогу. Я повторяю вам: эта штука стоит тысячу франков. Вы разбогатеете на ней.

Луи недоверчиво дотронулся до портсигара. Но голая дамочка с мандолиной его все же обольстила. А может быть и не дамочка, но проба: портсигар был золотой. Халыбьев на этот раз не лгал.

И Луи поддался:

— Двести.

В другое время Халыбьев наверное бы возмущился, он стал бы патетически торговаться. Но что об этом говорить! В другое время он вообще не продал бы волшебного портсигара. Теперь же с откровенным безразличием он взял сто франков и даже не пересчитав их,

прошел в свою комнату. Там он вложил записку, украденную у Жанны в чистый конверт, заклеил его, наклеил марку, взял перо, написал: „m-lle“ но, с минуту колебавшись, ни фамилии, ни адреса не поставил, а занялся совершенно иным делом. Разыскав где-то, среди всякого хлама, старый порванный бумажник, вывезенный еще из России, он подробно осмотрел его, а потом засунул в его отделения несколько франковых бумажек, почтовые марки, вырезку из валявшейся здесь же газеты „Petit Parisien“ с описанием сенсационной кражи, старый билет в кинематограф, рекламное объявление какой-то парфюмерной фирмы, наконец, фотографию счастливого обладателя брюнетки и конверт с ненадписанным адресом. Сделав это, он спрятал бумажник во внутренний карман жилета. Потом он надел на себя, вместо хорошего демисезонного пальто, какой-то порванный макинтош, купленный в дни бедствий у константинопольского старьевщика за одну лиру, который был ему явно не по плечу. Уходя, он весьма дружественно простился с Луи:

— Я уезжаю в Ментону ночным поездом. Если там все благополучно, я денюшка через три вернусь. Я оставляю здесь все мои вещи. Комната пусть числится за мной.

Было около десяти часов вечера. После столь подозрительных сборов казалось, что Халыбьев направится в какое-нибудь достаточно мрачное место. Но нет, он просто шел ужинать. Это, конечно, очень странно. Однако, является еще более странным следующее обстоятельство: он шел ужинать не в какой-нибудь веселый бар с такими девицами, а в благопристойнейший ресторан: «Лавеню», напротив Монпарнасского вокзала. Это не было случайной ошибкой. Халыбьев остановился именно на этом ресторане, как на самом семейном, самом добродетельном.

Выбрав маленький столик в углу, Халыбьев с удовольствием отметил мягкость кожанного, клубного кресла. Старый гарсон поставил ему под ноги скамеечку. Халыбьев поблагодарил его легким движением зек, не утруждая ни губ, ни шеи. Оркестр играл сюиту Грига. Это было крайне приятно после ежедневных джаз-бандов, или свиста негра Суло. Халыбьев чувствовал, что он отдыхает душой и телом. Право, Париж утомил его. Он был бы счастлив очутиться теперь в тихой санатории. Может быть, он не завтра, а сегодня же ночью отправится в тихий курорт, например, в Ментону, где такое море, где цветет миндаль. Может быть... Своими планами он пока что ни с кем не делился.

Проглядев мечтательно карточку, он заказал старому гарсону котлет-де воляй, шпинат и полбутылки Сан-Эташ. Это был настоящий ужин благоразумного, почтенного человека, который не хочет обременять на ночь свой желудок. И старый гарсон, приняв заказ, почувствовал к солидному клиенту соответствующее уважение. Когда Халыбьев спросил, подогрето ли слегка вино, в этом «слегка» было такое чувство меры и гармонии, что гарсон благоговейно ответил:

— О, да, *monsieur*, именно слегка.

Скушав котлетку, Халыбьев спросил грушу, а когда гарсон принес сочный душистый дюшес, он даже удостоил его милостивой беседы:

— Фрукты в этом году хороши, после жаркого лета.

— О, да, *monsieur*. И вино также. Виноделы славно заработали.

— Чего нельзя сказать о других. Неправда ли? Этот ужасный кризис! Как вы торгуете?

— О, не так плохо, *monsieur*. Последнее время не плохо. Последнее время даже очень хорошо.

— Ваше счастье. В других отраслях дело обстоит много хуже. У нас, например... Я директор фабрики кожаных кресел. Мы терпим теперь большие убытки. Итак вы говорите, что это хорошая груша?

— О, да, *monsieur*. Все что есть, лучшего.

Халыбьев легким наклоном головы указал, что он удовлетворен беседой. Гарсон почтительно попятился прочь. Было еще рано: без десяти одиннадцать. Надо предполагать, что поезд в Ментону отходил позже, потому что Халыбьев никак не торопился. За Григом последовал Сан-Санс, за грушей — кофе и кордиаль-медок. Это очень нравственный ликер, его потреблял и покойный папа Пий X.

Около одиннадцати часов Халыбьев небрежным взмахом пальца подманил к себе гарсона. Оценив всю преданность и благовоспитанность этого старого слуги, он снизошел даже до фамильярного обращения.

— Послушайте, мой друг, принесите-ка мне расписание поездов. Я жду племянницу из Гавра и хочу посмотреть, когда приходит поезд.

— Сейчас, *monsieur*, вам не зачем тревожиться. Я сам посмотрю, когда приходит ночной экспресс из Гавра.

— Нет, лучше дайте мне расписание. Я не знаю точно, когда она выедет. Я хочу посмотреть все поезда.

Халыбьев долго и тщательно изучал поданную ему гарсоном книгу. Лицо его явно выказывало неудовольствие и, поймав досадливую гримасу господина директора фабрики кожаных кресел, гарсон осмелился робко прошептать:

— Monsieur может быть, не нашел этого поезда?

— Нет, я отыскал то, что мне нужно. Но нельзя сказать, чтобы у нас все обстояло благополучно на железных дорогах. Поезда теперь так редко ходят, а эти «боши» не дают угля.

— О, да, они бесчестны, эти боши, — смиренно подтвердил гарсон, не решаясь, поскольку речь шла о столь высокой политике, углубить или развить мысль, выказанную солидным гостем.

Уже половина двенадцатого. Может быть, поезд в Ментону уходит утром? Может быть, племянница из Гавра придет лишь завтра? Халыбьев не спешит. Оркестр играет теперь попури из оперы Делиба, и Халыбьев романтически вздыхает. Вздохи эти можно объяснить исключительно романтическими чувствами, ибо котлет-де-воляй воистину была невесомой. Вероятно, он вспоминает сейчас пикантную брюнеточку. Ее целует тот нахал, похожий на перса из «Мартини». Халыбьев подносит руку к груди. Там в бумажнике карточка обидчика. Там в Халыбьевском сердце страшная обида. Звучки льются нежно и расплывчато, как будто это Бог полощет горло. Халыбьев тихо мурлычит: «Лакмэ, я хочу, чтобы ты улыбнулась». Халыбьев хочет, чтобы брюнеточка ему, наконец, улыбнулась. Разве это не вполне законное желание? Брюнеточка ему обязательно улыбнется — на то он Халыбьев!

Наконец, взглянув на часы, он подзывает гарсона: счет. Сколько? Двадцать один? Великолепно. Четыре гарсон может взять себе на чай. Гарсон упоен. Его доверие к этому величественному директору вполне оправдалось. Гарсон сразу умеет разгадывать сущность людей. Халыбьев спрашивает:

— Где у вас телефон? Я боюсь, что моя племянница уже приехала. Я хочу позвонить домой. У вас телефон в будке? Что? У меня немного слабые уши. Я боюсь, что музыка будет мне мешать.

— Нет, monsieur может свободно говорить. Телефон находится в будке, туда не доносятся звуки оркестра.

Халыбьев направляется к этой комфортабельной будке. Он оглядывается по сторонам. Никого нет. Гарсон тоже ушел. Он знает, что у гостя слабые уши. Вероятно, он боится своим дыханием смущать ему. Есть ли более сообразительные люди, нежели эти старые гарсоны парижских ресторанов? Халыбьев заходит в будку. Он благодушно улыбается. Он просто хорошо поужинал в тихом семейном ресторане. Вот и все. Потом он плотно прикрывает обитую войлоком мягкую дверь.

Как лжет заповедь „не лги“, как лгут и другие заповеди.

Жанна стояла и глядела на Сену. В черной воде изредка проплывали красные и зеленые огоньки. Жанна вглядывалась в лицо Сены, но понять его не могла. Это была Сена, та Сена, по которой днем можно уехать на игрушечном пароходике в веселый Севр или же в Медон. Это была и та Сена, в которую по ночам кидаются обманутые модистки, продувшиеся картежники и уставшие голодать безработные. Из черной воды вылавливают крюками синие разбухшие трупы. Их свозят в морг. Морг здесь же возле Нотр-Дам. Жанна стояла почти что рядом с моргом. Это была Сена, красавица Сена, которую поминают все поэты, Сена, в которую вливаются нечистоты всех двадцати полицейских округов Парижа.

Записка страшно взволновала Жанну. Его могут арестовать! Тогда снова разлука? Тогда снова улица Тибумери. Она не может больше там оставаться. Последние дни к'o всем ее мучениям прибавилось новое: дядюшка, вспомнив разоблачения Халыбьева и не желая тратить на поездки к чужим девицам, решил весенний пыл своих жиров утишить племянницей. Он приходил по ночам к Жанне и шипел:

— Ты что же, мой хлеб ешь и смеешь еще упираться? У тебя от этого ничего не убавится. Хватит на твоих кавалеров, чорт возьми!

Жанна отбивалась. Жанна грозила, что будет кричать. Иногда она убегала к Габриели. Она спала теперь, не раздеваясь, как в теплушке. Но вынести еще одну такую ночь теперь ей казалось невозможным. Вчера дядя при всех ей сказал: «убирайся прочь, потаскуха!» Она скажет Андрею. Андрей ей поможет. Андрей спасет ее. А вдруг он арестован? Жанна вспомнила сегодняшние угрозы Халыбьева. Это было еще отвратительней господина Раймонда Ней. Тот напоминал ей страшного бегемота, от которого все же можно убежать. А Халыбьев — это змея. Его руки проползут

всюду. От них никуда не укрыться. И, вспоминая эти руки, Жанна жадно вглядывалась в воду: нет, тогда Сена лучше!..

Потом она подумала об украденной из сумочки фотографии и ей стало еще тревожней.

Жанна не была слабой. Но, что делать, мир оказался для нее страшными джунглями, где что ни шаг сторожили ее хищные звери, и в этом страшном лесу был только один родной человек, только один защитник — Андрей. И вдруг он арестован?

Но тогда Жанне стало вдруг стыдно, что она думает о себе. Если он арестован — это ужасно. Андрей, веселый Андрей, который так любит свободу и ветер, этот Андрей в тюрьме! Он будет ужасно страдать. Он только что начал здесь свое дело. С таким волнением говорил он ей о поездке в Тулон. И вдруг его схватят, запрут. Может быть, уже схватили. Жанна не сможет ничем ему помочь. И Жанна еще пристальней смотрела на Сену. Своими темными, расширенными от тревоги зрачками она как бы ныряла в воду, как бы касалась дна, где, может быть, ждал крюка неизвестный утопленник.

Он написал, что будет в восемь, теперь уже около девяти. Он арестован. Что ей делать?

Андрей пришел четверть десятого, когда Жанна больше уж не ждала его. Он раньше не мог. За ним увязался шпик. Пришлось проехать по подземной до Мадлен и там во время пересадки вскочить неожиданно в поезд, который шел назад, к Шатле. Он устал: с утра на ногах. Он так устал, что, увидав Жанну, склонившуюся над перилами, он в первую минуту даже не обрадовался, но испугался. Ему показалось, что она летит в воду. Кругом было так мрачно. Каменная туша Нотр-Дам как будто распространяла вокруг себя промозглый мертвецкий холод. Собор походил на огромное ископаемое, которое шершавой слоноподобной кожей трет низкое слепенькое небо. Направо был морг. Налево казармы. Жанна на этом фоне казалась несчастным ребенком, такая была она маленькая, теплая, беззащитная. Впрочем, может быть, Андрея просто доканал тяжелый день. Задышавшись, он подбежал к Жанне. Он крикнул:

— Что с тобой? Что случилось? Почему ты так стоишь?

Жанна была на два года моложе Андрея. Но отчего-то, когда она видела его широкое лицо сведенным болью, ей казалось, что она старше его, на много старше, что она, как мама, должна его утешить, приласкать, тихо спеть ему: „Dodo, mon petit Andre“! Вот

только-что она хотела рассказать ему все, искать у него защиты, а сейчас, взглядевшись в серые глаза, полные тоски и переполоха, она сразу забыла и о контроле, и о дяде, и о том, что будет дальше. Она снова была согласна на все, лишь бы он улыбнулся. Она стала разубеждать его: нет ничего не случилось. Но Андрей был подозрителен. Он не верил. Эти башни, эта вода, эта черная молчаливая вода, в которой навверное, кто-то ждет крюка, все это томило его, он терялся в догадках.

— Жанна, ты что-то от меня скрываешь. Ты боишься огорчить меня. Может быть, твои родные узнали обо мне? Может быть, тебя обижают? Скажи же мне! Скажи правду!

Андрей требовал правды. Но его глаза, измученные, суматошные, потерянные глаза требовали лжи. Он был, как ребенок, который просит мать: «дай мне топор, я тебе помогу». И мать отвечает: «да, конечно, ты мне поможешь», а сама дает не топор, но игрушку. Андрей умел быть твердым, сильным, выносливым. Но мученный Жанной он бы не стерпел. И, чувствуя это, Жанна лгала! Она совсем счастлива. У нее самая легкая работа. А дядя? Что же, у дяди свои идеи. Но в общем он ласков с нею, он ее даже балует. Пусть Андрей успокоится, ей, право же, живется хорошо. Пусть он думает только о себе. За ним следят? Это опасно? Тогда ему нужно скорее ехать. Пусть едет завтра, пусть едет сегодня же ночью.

Говорят, что лгать нехорошо. Кажется, даже есть заповедь, которая запрещает лгать. Но где же найти такую правду, чтобы она была прекрасней вот этих слов маленькой конторщицы с улицы Тибумери о ласковом дяде? Андрей не знал, что она лжет. Он больше не вслушивался в ее тихие, заботливые речи. Но сердцем он чувал что-то большое. Он видел, как крохотная девочка, стоявшая над перилами, которую звали Жанной Ней, растет. Вот она уже выше его, выше домов, выше всего. И он несвязно лепетал:

— Знаешь, Жанна... если так... если так — то это страшно!..

Жанна ничего не ответила, она только ласково погладила его руку. Она давно узнала, что это страшно, давно, еще в пустой вилле «Ибрагия».

Стоять дольше было неудобно. Они могли обратиться на себя внимание. Они пошли по темной набережной. Потом Андрей повернул налево. Они перешли на другой берег. Андрей думал, что Жанна идет домой и хотел проводить ее. Жанна решила, что Андрей живет теперь тоже где-то возле нее. Они об этом не гово-

рили. Они говорили совсем о другом: о детстве, о Луаретте, о Царицыне, где Андрей когда-то встретился с Жанной. Несмотря на все утайки, на всю тревогу, на слезку, на контору, несмотря на жизнь, они были счастливы. Им все казалось внове: каждое слово, каждая робкая ласка. Они верили, что сочиняют вместе какую-то чудесную книгу, и если бы кто-нибудь, оставив их, сказал, что эта книга давно уже издана, вот слово в слово, эта самая книга, что она издана на всех языках, имеется в каждой семье, что ее можно найти даже под ночным колпаком старого консьержа, если-б он это сказал, они бы не поверили ему, они бы просто пожали плечами: этот человек ничего не понимает. Быстро они вписывали в эту книгу все новые и новые главы. К мифологическим местам их любви, к Карантину, к Орлуту, к Люксембургскому саду, что ни шаг прибавлялись новые. На бульваре Сан-Мишель, они столкнулись с каким-то подвыпившим студентом, в бархатном берете. Студент, добродушно ухмыльнувшись, закричал, показывая пальцем на Жанну и Андрея:

— Вот эти влюблены!..

Они не обиделись. Они улыбнулись. Пьяненький студент вошел в книгу, он остался вопросом: «а помнишь, того студента на Сан-Мишеле?» Он стал мифологией. На бульваре Монпарнас такой же участи удостоился большой щенок, который, корча из себя большого сторожевого пса, смешно, по-детски затыкал на Андрея.

Они шли под руку. Шаги их совпадали. Дыханье, кажется, тоже. Они часто замолкали только для того, чтобы полнее ощутить эту физическую близость. Им казалось, что они срослись, что у них теперь одно сердце, и кровь свободно переходит из руки в руку.

— Пойдем немного тише. Я устал, — попросил Андрей. И Жанна тотчас-же почувствовала, что устала она. Раздельных чувств у них не было. Они не думали о том, что будет завтра. Разлука обоим еще казалась нереальной, как смерть здоровому человеку. Андрей упомянул о Москве, и Жанне показалось, что они едут туда. Она закрыла глаза и шла так, отдаваясь руке Андрея и размеренному укачиванию шагов. Очнулась она от пьяного визга. Это какой-то сутенер обыскивал свою даму, стараясь обнаружить под чулком утаенные деньги. Они были уже на улице Тибумери. Жанна остановилась.

Нет! Нет, этого она не может!

— Я провожу тебя, — сказала она.

Андрей смутился. Проводить? Но куда? Тогда он признался Жанне, что ему негде ночевать. Придется

снова разыскивать какой-нибудь отель попроще, где не вглядываются в лицо и не спрашивают бумаг.

— Хорошо, но я провожу тебя.

Они снова пошли по тем же улицам. Но минута на улице Тибумери заслонила все. Разлука стала близкой и явной. Они теперь ощущали ее сильнее, нежели еще длившееся свидание. Они замедляли шаг. Они пытались говорить о делах: о деньгах, об отъезде Андрея, куда писать, когда он вернется, но из этого ничего не выходило. Они нарочно не кончали фраз. Они хотели перехитрить самих себя. Ведь пока все это не будет решено, они не расстанутся. Значит не нужно об этом говорить. Они могли бы проходить так всю ночь. Но Андрей, вглядевшись машинально в какого-то зябнущего на углу субъекта, сказал:

— Глупо... Я могу нарваться...

Жанна вздрогнула. Как она раньше об этом не подумала? Ей уже казалось естественным, что она должна думать и за Андрея. Она взволнованно сказала:

— Да, да! Ходить нельзя. Но где же он, твой отель?

— Не знаю. Может быть, и здесь есть. Вот там вывеска — видишь?

Они были на улице Одесса, позади вокзала. Дом, на который указал Андрей, трехэтажный, весь заселенный дом, действительно, был отелем. Об этом говорила жестяная вывеска: «комнаты на день». На день, впрочем, в этом отеле редко кто останавливался, разве что приехавшие из Бретани наивные провинциалы, да и те вскоре сбегали. Днем отель обыкновенно пустовал. Жирная рыжая хозяйка днем спала или же вычесывала из шерсти большого кота блох. Это было ее любимым занятием. Днем на отель никто не обращал внимания. Зато с вечера сюда сходились обитательницы и обитатели многих соседних улиц, как-то улицы Гэтэ, улицы Версанжеториск, улицы Аббэс и даже улицы Тибумери. Ночью рыжая дама бодрствовала, то впуская, то выпуская гостей. Комнат было всего восемнадцать. Но кто только в этих комнатах не перебивал? Проститутки, дежурившие возле Монпарнасского вокзала, вели сюда приезжих — бретонских матросов или даже мелких судебных ходатаев, приобщая их таким образом к парижской культуре. Девушки с улицы Тибумери также любили этот отель, как благонравный, спокойный, без полицейских облав. И в этот же отель, настройщик роялей, вступив в адюльтерную связь с супругой мясника, привел свою даму, страдавшую двойной одышкой — от жира и от любви. У подъезда облизывались «коты», поджидая девиц с вырубкой. Иногда здесь кутили какие-то скандинавские художники с бульвара Монпар-

насс, которые жаждали приобщиться к подлинному пороку. Бывали и неприятности. В пятнадцатом году один русский, кажется, эмигрант, здесь повесился, это было в номере девятом. А совсем недавно девица здесь задушила колбасника с улицы Дюто, взяла золотые часы и преспокойно улинула. Всякое случалось. Но отель был многим нужен и отель существовал. Андрею оставалось только порадоваться живучести подобных заведений.

Прочитав вывеску, он сказал:

— Да, здесь бумаг не спросят. Значит — сюда. Как быть с деньгами? Куда тебе писать? Ведь мы же больше не увидимся...

Жанна не ответила. Они стояли молча. Надо было кому-нибудь первому протянуть руку. И Жанна протянула свою. Но она не прибавила «прощай». Она взяла Андрея под руку и прошла с ним в подъезд. Она ничего не сказала, и Андрей ее ни о чем не спросил. На лестнице было темно. Выглянув в оконце, рыжая дама спросила:

— На час? На ночь?

Андрей получил огарок в густо-зеленом медном подсвечнике и ключ. Рыжая дама мелом перечеркнула на черной доске номер одиннадцатый.

Номер одиннадцатый ничем не отличался от семнадцати других номеров. Это была трущоба, где каждая плита, каменного пола помнила страшное шарканье убийц, блудодеев, или несчастных одиноких бродяг. Но они не видели этого. Им эта комната казалась волшебной избушкой, где они могут быть, наконец, вдвоем, где нет ни назойливых фонарей, ни подозрительно любопытных субъектов, и, войдя в комнату, они улыбнулись ей, улыбнулись дружески, улыбнулись, благодаря за приют. И грязная комната, как-будто смутившись, ответила на улыбку улыбкой. Для этого комната выбрала небольшое зеркало над умывальником. Зеркальце нежно улыбнулось. В одну минуту комната изменилась до неузнаваемости. Она могла теперь соперничать с Люксембургским садом. Только глупцы думают, что комната не меняется, когда в нее входит хороший человек. Ведь, даже знаменитый номер в гостинице «Крым» мог бы стать детским раем, если бы вместо Халыбьева на его диване оказались бы уши Захаревича.

В семнадцати номерах люди торопясь, ругаясь, потея, делали свои грязные и скудные дела. Но в одном номере было счастье. Номер знал об этом, он нежно светился тусклым зеркалом, замазанным засохшей мыльной пеной. В этом номере на зловещем диване, как

будто вывезенном из Нюрнбергского музея пыток, сидели Андрей и Жанна. Они говорили. Жанна ласково за уши выволокла Захаркевича. Это было не только торжеством доброты, страничкой трогательного английского романа. Это было и победой революции, неслышной победой. Перекоп на этот раз брался не огнем многодюймовых орудий, но нежным светом, теплеющих, как окна среди снега, восторженных глазок. Андрей радовался. Он видел теперь, как подошла вплотную Жанна к его жизни. Он рассказал ей о русской девочке. Она кричала: «смелей». Это хорошо. Это, как воздух. У Жанны в жизни было мало воздуха.

— Андрей, я хочу в Москву!

— Да, но позже, летом. А сейчас в Тулон. Я так рад, что наконец-то дорвался до настоящей работы!

— Андрей, а я? Что будет со мной?

— Ты подождешь меня здесь. Ты ведь, не одна. У тебя родные.

Тогда Жанна, обессиленная ночью, тревогой, предчувствием разлуки, не выдержала и отвернулась. Нет, она ничего не сказала, она не призналась, что лгала, она не пожаловалась, она только отвернулась, она только спрятала в тень свои глаза. Этого было достаточно, чтобы воскресить все подозрения Андрея. Ей плохо! Он чувствует, что ей плохо. Правды! Обязательно правды! И Жанна покорилась. Она рассказала Андрею все муки, все свое унижение. Это не было слабостью. Это было только верой, большой верой в любовь. Она теперь не боялась наносить Андрею ранения, ей казалось, что даже воздух, этот сырой и в то же время затхлый воздух отельной комнаты и тот так насыщен любовью, что какая бы ни была рана, все равно она в минуту зарастет. Жанна рассказала ему все, и, кажется, даже бурые стены этой трущобы, выдавшие всякие виды и те растерялись. Услыхав о заигрываниях господина Ней, Андрей крикнул:

— Раздавить его, как улитку!

Да, Жанна рассказала все. Она не забыла даже об улитках. Она провела Андрея по всему лабиринту окаянной конторы. Но об одном Жанна промолчала: она не сказала Андрею, что есть человек с ужасными руками, который чего-то хочет от нее, и она не сказала ни о поцелуе в кабинете, ни о сегодняшнем нападении. Она не раскрыла истории с пропажей карточки. Почему она так поступила? Этого она сама не знала. Это не было сознательной утайкой. Скорее в Жанне говорил инстинкт. Она боялась произнести это имя, чтобы не почувствовать на своем плече присутствия крючковатых мокрых рук. Андрей так и не узнал, что

существует на свете красавец Халыбьев. Но и того, что узнал, было достаточно. Он начал метаться по комнате:

-- Но как же ты мне не сказала об этом раньше?

Он терял голову. Только улыбка Жанны, говорившей страшные вещи и по-детски нежно улыбавшейся спасала его. Жанна не ошиблась. Рана, может быть, была и тяжелой, но она рубцевалась у нее на глазах. Он уже искал выхода. Он уже знал выход, Жанна туда не вернется. Жанна завтра же уедет. Лучше всего прочь из Парижа. Здесь дядя может ее разыскать. Но куда? В Тулон нельзя. Если его засадят, что она будет делать одна? Ведь, она ребенок. Ведь она же в Париже искала советского консула. Единственный выход в Москву. К Захаркевичу. Захаркевич ее устроит. Андрей приедет. Итак, решено, в Москву. Жанна завтра же поедет в Берлин. А виза? Но это неважно. Она может поехать в оккупированные места, например, в Висбаден, а оттуда в Берлин. Он даст ей записку в представительство. Там ей помогут. Значит, завтра же. Прежде всего: Висбаден. Жанна слушала его, тихо улыбаясь. Она сейчас плохо соображала. Она путала названия городов. Это неважно, Андрей ей скажет потом еще раз, как и куда. Она улыбнулась озадаченная и взволнованная новым чувством: ее любовь становилась жизнью. До этой минуты Жанна знала два отдельных, даже враждующих мира жизнь и любовь. Жизнь — это вилла «Ибрагия», это гречанка, это улитки, это Гастон. Жизнь, это мокрые, страшные руки Халыбьева. Любовь существовала совсем отдельно, как-то в сторонке. И вот теперь, на ее глазах эта бездомная, почти бесплотная любовь садилась в поезд, снимала комнату, вела себя уверенно и стойко, как живой человек. Жанна ее почти не узнавала. Ну, конечно, она узнавала ее, она радовалась за нее, ей она и улыбалась.

Потом она вдруг перестала улыбаться. Она стала страшно печальной. Виноваты были большие башенные часы на церкви Монпарнасс. Они вмешались в дело. Они грубо заявили своим неожиданным боем, что есть, как никак часы. Жанна вспомнила, что все это, и Висбаден, и Москва, означает разлуку. Как девочка, она быстро ринулась к Андрею и прижалась к его коленям. Андрей бережно приподнял голову Жанны. Он поцеловал черные печальные глаза.

Что случилось потом? Как он поцеловал губы? Как были побеждены часы на церкви Монпарнасс? Как были счастливы два человека в номере одиннадцатом? Обо всем этом нельзя рассказать. Они, ведь, молчали. Сто-

ва? Но у них больше не было слов. А раз у них не было слов, откуда же они отыщутся у третьего человека? Нет, об этом нельзя говорить. Можно сказать лишь одно, самое глупое, самое очевидное: в номере одиннадцатом была любовь. В номере одиннадцатом была та высокая, немая духота, которая заставляет рожь колоситься, писателей писать книги, людей жить и людей умирать.

Пусть брезгливые судьи поворчат, узнав об этом. Как? В такой трущобе любовь? Как? В отеле на улице Одесса, где сдаются комнаты на ночь, в этом при-tone, любовь? Не может быть! Любовь выбирает себе иные, более одухотворенные жилища. Пусть они даже осудят Андрея и Жанну: влюбленные должны были, принимая во внимание обстоятельства места, отложить любовь. Пусть! На то они судьи. Пусть и заповедь проклянет любовников. Они, ведь, не венчались в церкви, они даже не ходили в мерию. Они посмели любить только оттого, что любили. Суровая заповедь против них.

Огарок давно догорел. Откинув шторы, Андрей увидел лицо Жанны, освещенное слабым отсветом газового фонаря, горевшего на улице Одесса. Но лицо Жанны было освещено и другим светом. Откуда шел этот свет, пронзительный и в то же время тихий? Андрей не знал этого. Он был слишком счастлив, чтобы что-нибудь знать. Он не понимал совершившегося. Он не понимал, что Жанна, отдавшая ему сейчас всю свою жизнь, светится от пустоты. Но он видел свет на ее лице и он теперь не смел даже прильнуть губами к ее губам. Он затаил дыхание, как будто держал зажженную спичку. Он боялся, что свет отлетит. Но мог погаснуть фонарь на улице Одесса, мог даже Андрей забыть об этой ночи, свет все равно не ушел бы.

Андрей засветился в октябре, увидав древко с полотнищем. Он сразу понял тогда, зачем он будет жить. Жанна светилась теперь от того, что, став женщиной, она поняла, зачем жила прежде. Она светилась от того, что любила. Она светилась от того, что заповеди, старые мудрые заповеди лгут.

Крысы подработали.

Господин Раймонд Ней собирался лечь спать. Он так нарушил правильный распорядок своей жизни: ведь было уже около двенадцати часов ночи. Ложиться же следует в десять: хорошо для здоровья и уходит меньше газа. Но сегодня исключительный день. Господин Раймонд Ней долго будет помнить среду, шестое марта. Исторический день! Сколько волнений: визит американца, разоблачение Халыбьева, безрезультатные поиски камня, объяснение с этим наглым русским, наконец, гениальная удача Гастона. Господин Раймонд Ней ощущал чрезвычайно реально еще не выписанный чек. Ему казалось, что несгораемый шкаф уже растолстел от неожиданного прироста капитала, и это радовало его, как радует любящего мужа, когда его супруга от хорошей жизни прибавляется в весе. Полмиллиона — это не шутка! Это же капитал, чорт побери! Господин Ней решил даже купить завтра новые ботинки. Говорят, что в магазине «Самаритэн» дешево всего. Он поедет туда. Он не хочет бросать зря денег. Другие магазины дерут не за товар, а за рекламу. Кроме ботинок, придется, наверное, разориться на одеяло Габриели. Во-первых, моль сожрала ее одеяло, во-вторых, надо же и побаловать дочку, не то она совсем захиреет. Господин Раймонд Ней любит свою дочь. А теперь пора спать. Он хорошо настроен. Слышите: он хорошо настроен, чорт возьми! Он с удовольствием съел бы сейчас дюжину улиток.

Единственное, что немного раздражало господина Раймонда Ней, что омрачало его просветленное состояние духа — это была крыса, самая обыкновенная крыса. Крыс в конторе было много. Гастон давно предлагал завести хорошего кота, но господин Раймонд Ней опасался, что кот будет красть сало. Коты всегда так поступают. Об этом даже имеется пословица. На мышеловку он тоже не хотел тратить: дешевые, наверное, никуда не годятся, а дорогие... Но, ведь, у господина Раймонда Ней весь капитал в обороте. Таким образом, с крысами никто не воевал и крысы, чувствуя это, вели себя крайне бесцеремонно. Они ночами пугали Жанну, пробегая по ее ногам. Они не брезгали даже улитками, всегда хранившимися в кухонном шкафу. Они грызли сыскные дела и в грудах

подметных писем рожали голых, пискливых крысенок. Хотя господин Раймонд Ней давно привык к суетне под полом, сегодня крысы раздражали его. Он устал за день. Среди жира, как никак, имелись и нервы. Крысы угрожали даже бессонницей.

Крысы грабили господина Раймонда Ней. Они что-то грызли. Что—точно он не знал, но что-то принадлежавшее несомненно ему. Остатки хлеба? Или конторские книги? Крысы ему казались зловредными анархистами. Он даже вспомнил слова Халыбьева. А что, если правда? Что если здесь тоже будет революция? Что если придут и вскроют шкаф? Нет, этого не может быть! Однако, лучше оставлять в конторе на ночь Альфреда. Эта девченка — не охрана. Ее до сих пор нет. Шляется с кавалерами. Завтра он ее обязательно выкинет. Конторщиц много. А сколько она проедает? Его все грабят! Господин Раймонд Ней окончательно ударился в пессимизм. Ему не следовало слушать крысиный писк. Он должен был лечь на один час раньше.

Спасителем оказался поздний и вовсе неожиданный звонок телефона. Услыхав его, господин Раймонд Ней вздрогнул. Кто может звонить в полночь? Уж не анархисты ли? Не без страха он взял в руки трубку. Но тотчас же его жиры растеклись в праздничную улыбку. Какой, однако, богатый событиями день, эта среда, шестое марта!

— Простите, что я так поздно тревожу вас.

Господин Раймонд Ней сразу узнал, кто с ним говорит. Да и трудно было спутать. Кто же может из прекрасного французского диалекта делать вовсе неподобный лай? Но бас мистера Джекса был на этот раз сильным и глухим. Господину Раймонду Ней приходилось, что ни слово, его переспрашивать.

— Я получил неожиданно телеграмму. Мой паром «Романия» уходит из Гавра завтра. Таким образом, я должен уехать в Гавр с первым экспрессом, в два тридцать ночи. Разрешите мне тотчас же заехать за камнем, несмотря на поздний час.

— Я к вашим услугам, мистер Джекс. В конторе никого, разумеется, нет. Но я сам вам открою дверь. что касается наружных ворот, то они у нас день и ночь открыты.

— Превосходно, я буду у вас через полчаса. Я очень спешу. Я бы попросил вас не задерживать меня и приготовить камешек. Итак, до свидания.

Голос мистера Джекса исчез. А, ведь, господин Ней хотел спросить его, не простудился ли он в театре, там всегда сквозняки, а у мистера Джекса совсем охрипший голос.

Господин Раймонд Ней не сразу положил трубку. Он долго еще слушал смутный гул, который казался ему райским хором. Кто-то напевал: «чек приближается, приближается, ается, чек, чек, чек». И музыкальные жиры замирали в истоме.

Потом он вынул из несгораемого шкафа находку гениального Гастона. Пребывание в столь неподобающем месте, каким является птичий желудок, никак не отразилось на великолепной игре бриллианта. Может быть, только слезы Габриели могли бы сравниться с этим камнем. Но господин Раймонд Ней никогда не глядел на слезы своей дочери. Ведь, эти капельки воды ровно ничего не стоили, за них никто бы не дал ни одного американского доллара. Теперь же он любовался бриллиантом, покоившимся на жирной влажной ладони. После музыкальных эмоций, жиры предавались созерцанию семи цветов радуги. Какие они возвышенные, эти жиры. Как много нужно душевной настроенности и даже экзатичности, чтобы в первом часу ночи предаваться подобным занятиям!

Господин Раймонд Ней забыл даже о существовании крыс. Он был счастлив.

Такие минуты, разумеется, ослабляют человека. Естественно, что господин Раймонд Ней решил подкрепиться. Он прошел в кухню и достал из шкафа тарелку с улитками. Он принес добычу в кабинет и в ожидании сладостного посещения мистера Джекса, стал закусывать. Улитки были изумительными. Тайной их приготовления служанка Тонетт владела в совершенстве: чуточку чесноку, не разваренное, как в ресторанах, но упругое сочное мясо. Наслаждаясь пережевыванием этих несравненных улиток, господин Раймонд Ней, как счастливейший любовник, забыл обо всем на свете. Он даже не глядел на бриллиант, напрасно перед ним сверкавший. Он даже не прислушивался к шагам на лестнице.

Его вывел из этого блаженного забытья настойчивый стук во входную дверь. Господин Раймонд Ней вздрогнул: чек! Он именно подумал, не «мистер Джекс», а «чек». Ведь это же чек приехал к нему в автомобиле. Как нарочно в эту минуту во рту господина Ней оказалась улитка, и не просто улитка, но недоваренная, вязкая и упругая, вроде резины. Он не хотел ее выплюнуть и он не мог ее проглотить. Схватив маленькую лампочку, он побежал по лабиринту. Он, действительно, побежал, несмотря на всю инертность жиров. Он боялся прогнать американца, который спешит, там спешит, как могут спешить только одни американцы. Он бежал до лабиринту, а во рту его все еще барах-

талась гуттаперчевая улитка. Поэтому, вместо того, чтобы спросить «кто там?», он только промычал нечто носовое. Впрочем, его поняли. За дверью послышался голос простуженного мистера Джекса:

— Это я. Я приехал, как мы условились...

Улитка, должна была, наконец, пролезть в пищевод. Но она не пролезла. Господин Раймонд Ней открыл дверь. Он даже не успел взглянуть на мистера Джекса, как лампочка его погасла, задутая вошедшим человеком. Последовало нечто странное. Острая рука коснулась короткой шеи господина Раймонда Ней. Жиры закачались и грохнулись на пол. Неужели мистер Джекс знал приемы джиу-джитсу? А, может быть, это и не был вовсе мистер Джекс? Улитка все еще находилась во рту господина Раймонда Ней, неподвижно лежавшего на полу. Тогда посетитель вынул из кармана складной охотничий нож и начал спокойно резать шею господина Раймонда Ней, как режут свинью. Улитка выползла изо рта, вся облитая густой красной подливкой. Послышался ужасный хрип, похожий на грохот мотоциклетки. Вслед за этим наступила тишина.

Тогда ночной гость, неизвестный гость, — ведь в конторе было совсем темно и кто он, установить в этой темноте являлось абсолютно невозможным, — вытащил карманный электрический фонарик и осветил труп господина Раймонда Ней. Жиры теперь как будто плавали в буром соусе. У господина Раймонда Ней было очень много крови и кровь эта, расплзаясь, угрожала залить весь пол. Убийца, очевидно, предвидел это. Надо полагать, что он зажег фонарик не из праздного любопытства, нет, он боялся запачкать свои рыжие штiblеты. Он осторожно перешагнул через ширящуюся лужицу и уверенно вошел в сложный лабиринт закоулков. На постороннего наблюдателя произвела бы, пожалуй, несколько странное впечатление его походка: он шел неестественно, то на цыпочках, то прихрамывая. Но посторонних наблюдателей не было. В пустой конторе находились лишь крысы.

Дойдя до кабинета, преступник снова зажег фонарь. Он без особого труда нашел на столе драгоценный камешек и небрежно засунул его в жилетный карман. После этого он снял с себя пальто и переложил в него что-то из внутреннего жилетного кармана. Все это он проделал неспеша. Он, кажется, вообще не спешил. Он вел себя крайне странно для злоумышленника. Вместо того, чтобы тихонько выбежать прочь, он начал шуметь, он опрокинул тяжелое кресло. Тогда раскрылась дверь, которая вела в комнату Габриели. Убийца навел на девушку фонарь. Это был какой-то бес-

страшный убийца. Он не бросился бежать. Он только проглотил вздох и вообще перестал дышать. Габриель спросила:

— Отец, что случилось?

Между убийцей и слепой был большой стол. Слепая почувствовала присутствие чего-то знакомого и страшного. Убийца же махнул своим пальто так, что край его коснулся лица Габриели. Удивленная девушка потянула к себе материю. Пальто, одну секунду, для виду поупрямившись, сдалось, оно осталось в руке Габриели. Убийца теперь был удовлетворен. Он отнюдь не жалел о пропаже пальто. Он бросился бежать на цыпочках, не дыша и зачем-то спрятав руки в карманы, как будто крысы могли заинтересовать его руки.

Уже пробираясь по темному двору, он услышал отчаянный вскрик Габриели. Но и это его не смутило. Кто же в доме номер семнадцать по улице Тибумери обращал внимание на крики женщин?

Габриель вскрикнула один только раз. Это было в последнем закоулке лабиринта, у самой последней двери. Почувствовав, что в ее руках находится чужое мужское пальто и услышав тихие прыжки убегающего человека, она, еще сонная, сообразила все же, что отца в кабинете нет и что, вероятно, в контору забрались воры. Она смело прошла туда, окликая господина Раймонда Ней. Но в конторе никого не было. Вдруг она почувствовала, что нога ее скользит. Она нагнулась: это было теплое и липкое. Она не поняла, что это. Она стала проверять руками пол. Она натолкнулась на мокрые губы отца. Тогда она вскрикнула, но отец ее молчал.

Габриель выбежала на лестницу, чтобы позвать соседей, но там силы изменили ей. Без чувств свалилась она на скользкую площадку. Соседи не выглянули. Соседи давно уже спали. В доме было теперь тихо. Тихо было и в конторе, в пустых, темных закоулках. Обрадованные крысы выползли. Их было много. Они разбрелись в поисках пищи. Одни из них направились в кухню, где был хлеб, другие нырнули в темь кабинета и стали грызть недоеденные господином Раймондом Ней улитки. Но умнее всего оказались те крысы, которые решили обследовать лабиринт конторы, где обыкновенно обретались лишь невкусные жесткие бумаги. Они были сторицей вознаграждены за свою скромность. Они напали на сало. Так много сала крысы ни когда не видали на своем крысином веку. От удовольствия они даже попискивали. Резцы их усердно работали. Им никто не помешал. Когда в контору с трудом пробрался серый, грязный свет пасмурной зари, крысы уже заканчивали лицо господина Раймонда Ней.

**Издательство
и
Центральный книжно-оптовый склад
О. Д. СТРОК**

Роман

Printed in Latvija.